

Между двух огней

Автор:

Ольга Егорова

Между двух огней

Ольга Егорова

Когда Инга очнулась в больнице, обнаружилось, что она не помнит ничего, даже страшную аварию, в которой чудом не погибла, и вообще ничего из своего прошлого... Ее мир раздвоился. Инга не знала, стоит ли ей мучиться, пытаюсь разобраться в своем прошлом? Или лучше сосредоточиться на настоящем и будущем, жить спокойно с тем, что есть здесь и сейчас? Однако проблема выбора стала вопросом жизни и смерти, Инге удалось выяснить, что дорожная авария была не случайностью. К тому же незадолго до аварии она заметила за собой слезку...

Ольга Егорова

Между двух огней

Самому дорогому на свете человечку – моей Карине.

Хочешь, я подарю тебе ветер?

Ты только скажи. Из всех ветров я выберу самый соленый. Теплый соленый ветер, налетевший с юго-запада, впитавший в себя брызги Атлантического океана – сквозь шум этого ветра ты сможешь услышать, как разбиваются о скалы высокие волны, как рассыпаются пенной накипью о берег. Я поймаю его в кулак, вместе с криками чаек. Вместе с воспоминаниями о странах, через которые он летел, думая, что будет всегда свободным.

Я подарю тебе ветер – только скажи.

Он будет твоим. Ты сможешь потрогать его руками. Ты будешь смеяться, когда ветер, запутавшись в твоих волосах, станет шептать тебе на ухо глупые признания в любви. Ты не согласишься ему, когда он тихо скажет, что ему нравится быть твоим пленником.

Твоим собственным, ручным, ветром.

Ты согласишься – а как же свобода?

Ведь ветры для того и рождаются на свет, чтобы быть свободными.

А ветер скажет тебе, что все это – ерунда. Что каждый нормальный и уважающий себя ветер только и мечтает о том, чтобы поселиться навеки в твоих волосах. Потому что это гораздо приятнее, чем быть обыкновенным свободным ветром.

И ласково прикоснется к твоей щеке.

Ты будешь смеяться.

Ты согласишься: вы договорились.

Я и ветер – тот самый, который я поймал для тебя.

Часть 1

В тот вечер случилось непоправимое.

Но прежде Инга увидела закат – наверное, самый прекрасный в ее жизни.

Она любила смотреть на закат с самого детства. Окна квартиры, в которой проживала их немногочисленная семья – Инга и ее бабушка – выглядывали на запад, и каждый вечер Инга прилипала к запотевшему от теплого дыхания стеклу на целый час, а то и больше, чтобы следить за исчезающим солнцем. Каждый закат был по-своему удивительным, не похожим на десятки и сотни других закатов, которые наблюдала Инга из окна своей детской комнаты.

Детские впечатления от этого зрелища были просто невероятными. До шести лет она ни минуты не сомневалась в том, что по вечерам солнце кто-то съедает. Какой-то дикий и страшный зверь сидит там, невидимый за линией горизонта, и откусывает оранжевые кусочки, похрустывая ими с довольной ухмылкой на своей дикой и страшной морде. Инга долго мучилась от этого предположения, а потом решила поведать о своих страхах бабушке.

«Нет никакого дикого и страшного зверя», – терпеливо объяснила бабушка. Инга привыкла бабушке верить, поэтому согласилась, что зверя дикого и страшного на самом деле нет, и по ночам солнце никто не съедает. В самом деле, как-то глупо получается: откуда же солнцу взяться на небе, если его кто-то съел? А в то, что в небе живут тысячи разных солнц, похожих друг на друга, как две капли воды, Инге почему-то не верилось. Тогда Инга начинала думать, что солнце тонет в реке.

Медленно опускаясь в реку, оно лежит там до самого утра, остывая, а утром выныривает из воды и снова прыгает на небо, свежее и чистое, как будто совсем новое, солнце. Но тогда как объяснить, что солнце по утрам появляется совсем с другой стороны неба? С той стороны, где нет никакой реки, а есть только высокие дома и пыльная асфальтовая дорога, по которой рано утром бабушка отводит Ингу в детский сад?

«Солнышко просто ложится спать», – объясняла бабушка, и Инга тут же представляла себя огромную постель с пуховой периной, застеленной атласными простынями. Там, за той чертой, которую взрослые называют линией горизонта.

Этот вариант понравился Инге больше всего, и часто, засыпая, она представляла себе эту пуховую перину, атласные простыни и спящее солнце – этакий оранжевый колобок, рыжий котенок, свернувшийся на подушке. «И нет никакого страшного зверя», – убеждала себя Инга, веря и не веря в его существование.

Потом, позже, когда Инга стала уже большая, когда превратилась в умненькую девочку-отличницу, прекрасно знающую о том, что же такое линия горизонта и куда на самом деле девается солнце ночью, она все равно продолжала вечерами сидеть у окна и пялиться на исчезающий диск дневного светила, не замечая ничего вокруг и боясь пошевелиться. Бабушка, человек по натуре очень мнительный, даже переживала за Ингино здоровье и все собиралась отвести ее к врачу, думая, что Инга растет у нее какая-то странная, совсем не такая, какой полагается быть нормальной девочке. Сердилась на Ингу, и на своего покойного мужа, Ингиного дедушку, который в свое время после тридцати лет ожидания в очереди получил эту злополучную квартиру с окнами на запад. Иногда даже сердилась на солнце, которое выбрало такое неподходящее место для того, чтобы устраивать свои вечерние представления.

Но все благополучно разрешилось, когда Инга с бабушкой переехали в другую квартиру. Теперь окна выходили на восток, а рассветы, которых всерьез опасалась бабушка, оказались для Инги вполне безопасными. Она относилась к ним совершенно равнодушно – может быть, потому, что была настоящей «совой» и ее эстетическое чувство просто не способно было просыпаться вместе с солнцем. Хотя, скорее всего, причина была совсем не в этом. Просто с Ингой случилось то же, что рано или поздно случается с каждым человеком – она стала взрослой.

* * *

«Взрослой», – усмехнулась Инга собственным мыслям. Машина подпрыгнула, угодив колесом в какую-то не замеченную Ингой трещину на дороге, и вместе с ней тревожно подпрыгнула фигурка маленького зверька, подвешенного к зеркалу заднего вида.

Зверь был серым и звался Мыхом. Мых носил пестрый комбинезон и проживал в Ингиной машине вот уже почти два года. За эти два года еще ни разу не случилось, чтобы Инга, садясь утром в машину, с Мыхом не поздоровалась. Или чтобы Инга с Мыхом не попрощалась, оставляя машину на стоянке на ночь. Чтобы не поведала Инга Мыху какую-нибудь историю из своей жизни, чтобы не посоветовалась с ним по поводу какой-нибудь глобальной проблемы – такого тоже не случилось ни разу. И кто это, интересно, придумал, что в двадцать шесть лет люди обязаны быть взрослыми?

Инга становится взрослой категорически не собиралась. Все ее существо отчаянно сопротивлялось этому странному и необъяснимому с точки зрения логики процессу. Она будто бы плыла против течения жизни, сопротивляясь ему изо всех сил в надежде, что рано или поздно это течение все же поймет, что Инга сильнее, и оставит ее в покое.

Только однажды этот воображаемый поток времени, который Инга всегда мысленно сравнивала с убегающей вдаль прохладной рекой – чистой и прозрачной, как утренняя роса – захлестнул ее, накрыл с головой и заставил захлебнуться. В тот день, ощутив всю силу этого потока и почувствовав во рту его горько-соленый вкус, она перестала сопротивляться.

И все-таки, несмотря на эту горечь, она до сих пор любила смотреть на закат. И ни минуты не сомневалась в том, что, исчезая за линией горизонта, солнце на самом деле ложится спать, утопая в мягкой пуховой перине, свернувшись на атласной подушке рыжим клубком. Что солнце, засыпая, видит сны, и сны эти ничем не отличаются от тех, что приходит по ночам к людям. Что у людей и у солнца сны общие, и иногда случается такое, что спящему солнцу и какому-нибудь человеку может присниться один и тот же сон, и тогда, проснувшись, этот человек сможет поделиться с солнцем своими воспоминаниями.

«Смешно», – подумала Инга, сосредоточенно глядя на дорогу, бегущую вдаль ровным темно-серым полотном. Закат маячил сбоку, с правой стороны, и дразнил Ингу, предлагая остановиться. Заглушить двигатель, убрать с руля уставшие руки, откинуться на спинку сиденья и замереть на несколько минут. Справившись с потребностью вдохнуть и выдохнуть воздух, преодолев вечное движение мыслей – остаться наедине с засыпающим солнцем, прилипнув носом к стеклу, ощутить кожей его оранжевое тепло и поверить в то, что этой ночью именно она, Инга Петрова, окажется тем самым человеком, которому приснится тот же самый сон, что будет сниться солнцу. И тогда, проснувшись, она сможет поделиться с солнцем своими воспоминаниями.

Если, конечно, ей удастся сохранить этот сон в памяти. Как и большинство обыкновенных людей, Инга почти никогда не помнила своих снов. Стоило ей открыть глаза – и сон рассыпался на тысячи мелких разноцветных осколков, превращался в теплую сахарную пыль, спиралью поднимался к потолку и исчезал, растворяясь в утреннем свете. Ей часто мерещились звуки, напоминающие гулкую вибрацию камертона, в эти короткие секунды, когда уходили сны. Фрагменты этих снов, порой по необъяснимым причинам

всплывающие в памяти, были совершенно бессмысленными. Фарфоровая маска с женским лицом и восточной прорезью глаз, белая увядшая роза в глиняной вазе, фонари, висящие в воздухе на невидимых нитях. С одной стороны необычно, с другой стороны – ничего особенного. Воссоздать по этим обрывкам картину сна было невозможно. Но Инга и не пыталась – вряд ли такая чепуха вроде фарфоровых масок могла бы присниться солнцу.

Сбавив скорость на повороте, она все же не удержалась и на короткое мгновение отвела взгляд от дороги, чтобы полюбоваться закатом.

Дальний край неба вдоль линии горизонта щедро окрашен сотнями оттенков закатной палитры. Солнце лежит на нем, как сочный оранжевый апельсин на подносе. Кажется, внутри у солнца – кисло-сладкий оранжевый сок. Только надави, и он брызнет во все стороны, заполнив рыжими крапинками закатную синеву холодного осеннего вечера, прольется щедрым и радостным цитрусовым дождем.

Инга вздохнула. Наверное, права была бабушка. Надо было отвести Ингу к врачу еще в детстве. И сделать из нее нормального ребенка. Чтобы вырос потом из этого нормального ребенка нормальный взрослый человек. Которому не будет мерещиться запах апельсина в закрытом автомобильном салоне только лишь потому, что солнце за окном покажется ему похожим на апельсин. Не говоря уже о некоторых других, более серьезных и странных вещах, однозначно указывающих на расстроенную психику. Или чересчур развитое воображение.

Таких, например, как мания преследования.

Машину в очередной раз подбросило на какой-то кочке, которую не успела разглядеть Инга. Мых беззаботно подпрыгнул, ударившись коротким хвостом-завитушкой о переднее стекло. Глаза у Мыха – две крошечные черные бусины – были хоть и пластмассовыми, но очень умными и абсолютно живыми. Инга купила его два года назад в магазине канцтоваров, у кассы, потому что ее просто пленили эти умные пластмассовые глаза.

Жаль, все-таки, что нельзя остановиться и хотя бы несколько минут спокойно полюбоваться уходящим за линию горизонта солнцем. Но скоро совсем стемнеет, а ей нужно успеть вернуться домой засветло. Она всегда боялась ездить по ночной трассе, на которой огни встречных машин казались ей глазами

невидимых монстров. Особенно сейчас, когда нервное напряжение последних недель давало о себе знать хронической бессонницей, частыми головными болями, беспричинными перепадами настроения. К счастью, весь этот кошмар остался позади, и теперь все, что ей нужно – это только время.

Время расставит все по местам, и тогда она наконец успокоится. Исчезнет тревога и постоянное ощущение надвигающейся опасности. Исчезнет чувство вины, и она станет свободной.

Свободной...

Чувство свободы, забытое, почти неведомое, всколыхнулось на дне души. Пьянящее, обжигающее, удивительное, ни с чем не сравнимое. Инга переключила рычаг скорости, почувствовав вдруг, что ее ужасно раздражает этот старенький «Жигуленок», который маячит впереди вот уже минут двадцать. Настоящий примус, горделиво попыхивающий облачками выхлопного газа. Она послушно плелась следом за ним просто потому, что на этом участке дороги обгон был запрещен. Сплошная белая полоса, разделяющая дорогу на две части, равнодушно давала понять, что тащиться за «Жигуленком» на скорости шестьдесят пять километров в час Инге придется еще очень долго.

Как бы не так, подумала она и нажала на педаль газа. Улыбнувшись своим мыслям, бросила короткий взгляд вправо, на оранжевое солнце, словно бы заручившись его поддержкой. И в считанные секунды поравнялась с «шестеркой». Посигналила коротко, объяснив на всякий случай свои намерения. Коротко стриженный затылок водителя, его короткие мясистые пальцы, туго обхватившие руль, массивная шея – все указывало на то, что человек, сидящий за рулем «примуса», просто так не сдастся. Едва только Инга успела подумать об этом, как тут же заметила, что «шестерка» стремительно набирает скорость.

Теперь они шли наравне, и можно было только удивляться, откуда у этой развалюхи столько сил. Машина была явно не первой свежести, судя по номерам, которые регистрировали лет десять-двенадцать назад. «Лексус» Инги был новеньким, полугодовалым младенцем, и сам факт того, что старая «шестерка» в течение нескольких минут способна идти наравне с такой машиной, казался абсурдным.

Но тем не менее, это было так. Стрелка спидометра неуклонно ползла вверх – скорость свыше ста десяти километров в час для «жигуленка» казалась запредельной, и Инга, усмехнувшись, подумала о том, кому могло прийти в голову установить на этот раритет двигатель от иномарки. «Или от... космического корабля», – Инга поморщилась от досады в тот момент, когда на скорости сто тридцать километров в час расстояние между «Лексусом» и «шестеркой» стало медленно увеличиваться. «Лексус» шел легко, почти бесшумно подминая под колеса предупреждающую белую полосу. «Шестерку» трясло мелкой дрожью, и упрямому парню с коротко стриженным затылком, по всей видимости, приходилось прилагать невероятные усилия, чтобы удержать машину на ровном ходу. И все же, несмотря ни на что, он потихоньку отрывался.

«Шумахер», – усмехнулась Инга и решительно прибавила скорость. Пальцы, сжимающие руль, побелели, щеки запылали румянцем. Ощущения от гонки были удивительными, непередаваемыми. Она словно пробовала на вкус это пьянящее чувство свободы, которое в этот миг перестало казаться умозрительным, обретая некую материальную сущность – яркий оранжевый цвет, свежий цитрусовый привкус и гулкий звук пульсирующей в висках крови. В тот момент, когда машины снова поравнялись, стрелка спидометра превысила отметку сто сорок километров в час. Запредельная скорость. Инга впервые в жизни ехала на такой скорости. Оказалось, что это совсем не страшно. Машина, как дикий зверь, которого приручили однажды и навсегда, остается послушной в любой ситуации, она подчиняется легко и с удовольствием и всегда готова на большее – только нужно сжать покрепче руль и не снижать давления на педаль газа.

Теперь, поравнявшись с объектом преследования, она смогла разглядеть в салоне уже не только коротко стриженный затылок водителя. Бросив короткий и цепкий взгляд вправо, Инга увидела жесткий подбородок, широкий и открытый лоб и плотно сжатые узкие губы. Водитель был таким же молодым и таким же...

По всей видимости, таким же сумасшедшим. А если предположить, что он и в самом деле рассчитывал обогнать Ингу – значит, еще более сумасшедшим...

Предвкушая долгожданную победу, Инга вздохнула поглубже, в кровь закусил губу и плавно увеличила скорость. Сантиметр за сантиметром она забирала у шестерки пространство дороги. Но в тот момент, когда ей удалось вырваться вперед почти на половину корпуса машины, на встречную полосу из-за дальнего поворота тяжело выползла длинная гусеница груженого КАМАЗа.

– Черт! – выругалась Инга. Расстояние стремительно сокращалось. КАМАЗ дал предупреждающий сигнал и слегка вильнул к обочине. Водитель «шестерки», по всей видимости, ликовал, а Инга задыхалась от бессильной ярости: теперь придется сбрасывать скорость, временно пристраиваться позади «жигуленка», чтобы пропустить КАМАЗ, а потом начинать гонку сначала – как же не вовремя появилась эта чертова гусеница! Метров через сто – сто пятьдесят Инга бы уже точно вырвалась вперед, и тогда ей бы не пришлось тормозить, отдавая драгоценные секунды.

Обреченно вздохнув, она убрала ногу с педали газа и нажала на педаль тормоза.

Не почувствовав никакого сопротивления, педаль провалилась.

Кровь, рассредоточенная по венам, в считанные доли секунды отхлынула и ударила в виски. Откуда-то издали послышался крик. Нет, конечно же, это кричала не Инга, потому что Инга просто не могла так кричать. Этот крик разорвал вакуумную тишину салона «Лексуса» в тот момент, когда стало очевидным: тормоза отказали. Снова и снова нажимая на эту чертову педаль, Инга упиралась в пол, не чувствуя никакого сопротивления.

Времени на раздумья не оставалось. Нужно было просто зажмуриться и, отпустив руль, дожидаться лобового столкновения. Или же, вывернув руль влево, попытаться сбросить машину в кювет. Если хватит сил...

Сил у Инги хватило. Но не хватило времени.

КАМАЗ на полном ходу впечатался в заднюю часть корпуса, и «Лексус» взлетел в воздух, совершив стремительный переворот вокруг своей оси, после чего с грохотом приземлился на крышу.

Инга успела еще подумать о том, что ей не хочется умирать. Что она, пожалуй, отдала бы все на свете только ради того, чтобы пожить еще немного. Совсем немного. Один день. Или несколько часов. Минут. Секунд...

* * *

Теперь, вспоминая тебя, я всегда вижу луну, лежащую у тебя на ладони.

В свете луны твои вытянутые пальцы кажутся абсолютно белыми и почти прозрачными. Мертвыми. И если бы не твой тихий смех, доносящийся сверху – наверное, я бы подумал, что ты привидение, и испугался. Ведь мне всего лишь четырнадцать лет, а в этом возрасте еще простительно верить в привидения и бояться их. Особенно ночью, при свете луны.

Здрав голову, я стою под огромным дубом, тревожный и на смерть испуганный взгляд прикован к ветке дерева. Ветка корявая, слишком тонкая. Ты смеешься почти беззвучно, ветка качается. Невольно прикидываю расстояние до земли, раздумывая, что будет, если ветка сломается и ты упадешь вниз. Делаю короткий шаг вправо – кажется, здесь у меня будет больше шансов поймать тебя, не позволить удариться о землю и разбиться на тысячи хрустальных осколков. Впрочем, помешать я вряд ли смогу, если тебе вдруг придет в голову упасть с ветки. Захочешь – упадешь, в этом вся ты, самовольная, никому и ничему не подвластная, как какая-нибудь природная стихия. Цунами, наводнение, землетрясение, извержение вулкана... Даром что девчонка.

Инга, шепчу я.

Слишком тихо, и ты не слышишь.

Луна лежит у тебя на ладони. Круглая, желтая и спокойная, как удав. Сравнить луну с удавом глупо, но в то же время у меня появляется великолепная причина хоть на минуту отвлечься от своих страхов, что я и делаю. Спокойная, как спящий младенец. Сравнение со спящим младенцем кажется мне более удачным, и твои бледные вытянутые пальцы, на которых лежит луна, прекрасно дополняют картину, превращаясь в колыбель, в мягкую перину. Почти забываю про свои страхи: ветка дуба наверняка достаточно крепкая, она не сломается, и ты не упадешь вниз, превратившись в осколки. Скорее это она, луна, свалится вниз и ударит меня по голове, если ты вдруг уберешь свою ладонь, в которой она так уютно расположилась.

«Видишь? Она лежит у меня на ладони», – с чувством затаенной гордости шепчешь ты сверху, а я в ответ требую:

«Спускайся же ты наконец! Свалишься ведь, собирай потом тебя по кусочкам!»

Как обычно, ты меня игнорируешь. Мои слова для тебя – что ветер в ночи, в них не больше смысла, чем в шелесте листьев или в каплях дождя, бьющихся о стекло.

«Инга!» – на этот раз в голосе моем звучит неподдельная ярость.

«Тихо!» – ты прижимаешь к губам указательный палец левой руки – луна покоится в правой, ты совершенно уверена в том, что луна спит, и игнорируешь соображения собственной безопасности, жертвуя ею во имя спокойствия необычного младенца.

Смотреть на это у меня просто нет сил. Ты сидишь на чертовой ветке, держась зубами за воздух, указательный палец левой руки как будто приклеился к губам – я знаю, что ты меня дразнишь. Три метра, снова прикидываю я расстояние. Может, четыре. Не смертельно, шепчет внутри голос рассудка. Никаких хрустальных осколков. Самый крайний вариант – это гипс на обе ноги, и ты его заслужила. Опускаю голову, чувствуя, как ломит затекшая шея. Несколько секунд злорадствую, представляя тебя лежащей на больничной койке, с двумя ногами, подвешенным к нависающей над кроватью специальной конструкции. Пытаюсь представить раскаяние на твоём лице. Не получается. Несмотря на загипсованные ноги, не вижу никаких признаков раскаяния. Вижу себя в той же больничной палате – сижу рядом с тобой, на табуретке, на коленях – пакет с апельсинами, уголки губ опущены вниз, глаза – как у побитой собаки, чувство вины давит на грудь, и я почти задыхаюсь. На роль побежденного из нас двоих гожусь только я. Приходится с этим смириться и предпринять очередную попытку заставить тебя спуститься с небес на землю. Не поднимая головы, спрашиваю, не сошла ли ты с ума окончательно, надеясь получить ответ.

Вместо этого получаю удар по голове.

Оглядываю пространство вокруг себя и вместо свалившейся с неба луны вижу обыкновенный шлепанец. Дурацкий белый шлепанец, упавший с твоей ноги как будто случайно. Наклоняюсь, поднимая его с земли, снова слышу над головой твой глупый смех и понимаю, что ни о каких случайностях здесь речи быть не может. Твоя голая пятка демонстративно висит в пустоте. Снова прикидываю расстояние – нет, не дотянуться. Жажда мести овладевает мной. Потираю ушибленное место. Прицеливаюсь и кидаю злополучный шлепанец далеко-

далеко, в темные кусты, густые и аккуратно подстриженные. Не слишком успешно – над кустами блеклый фонарь, в отпечатке его света на асфальте замечаю крохотное белое пятно и мысленно обзываю себя неудачником.

Ты снова смеешься. Я поднимаю голову и снова вижу тебя и луну в твоей ладони. Указательный палец благополучно отлепился от губ, но теперь твоя левая рука забралась в карман джинсов – ты по-прежнему не думаешь о безопасности. Смеешься осторожно и тихо, чтобы не потревожить спящую луну, но я все равно слышу этот смех. В этот момент происходит что-то невероятное – я начинаю смеяться вместе с тобой. Твой смех всегда заразителен, он для меня как вирус, передающийся воздушно-капельным путем. Чтобы избежать опасности заражения, нужно перестать дышать с тобой одним воздухом.

Проще умереть, думаю я, и мне становится еще смешнее от этой мысли, потому что в четырнадцать лет думать о смерти – это на самом деле почти смешно. В этот момент я наконец понимаю, что никуда ты не свалишься с этой ветки. Даже если ветка сломается, ты все равно останешься висеть в воздухе, такая же невозмутимая, как луна, спящая в твоей ладони. Глупо сомневаться в том, что может быть иначе. Сомневаться – значит совсем не знать тебя.

Гордость разливается и заполняет собой каждую клеточку тела – я осознаю себя человеком, который по-настоящему тебя знает. Знает так, как никто другой, как не знаешь себя даже ты сама. Гордость глупая, возникшая, если разобраться, на пустом месте, но все же приятная. Я продолжаю смеяться, наслаждаясь своей глупой гордостью, и наконец чувствую знакомый зуд на спине, в области лопаток. Некоторое время стою, выжидая, когда крылья прорежутся до конца, расправляю их и быстро взлетаю, скользя по стволу дерева, вопреки законам гравитации, вверх. Подъем отнимает не больше секунды – и вот я уже рядом с тобой, на соседней ветке, еще более тонкой и ненадежной, чем твоя. Сознательно выбрав эту самую тонкую и ненадежную ветку, я упиваюсь чувством воображаемой смертельной опасности, разглядываю с высоты почти птичьего полета невидимую далекую землю и жду от тебя короткого возгласа одобрения. На восхищение рассчитывать не приходится, но хотя бы одобрения жаждет душа. Ты криво усмехаешься: говорила же, ничего страшного. Болтаешь в воздухе ногами, не отводя взгляда от спящей в ладони луны, а я в это время понимаю, что с крыльями за спиной сидеть на ветке совсем не удобно. Они слишком большие, им требуется много пространства, а листва на дереве сейчас, в середине июля, густая и тесная. Ворочаюсь, издаю невнятные звуки, но осуществить задуманное не удастся.

Чувствую себя глупой курицей, и крылья в момент исчезают. В ту же секунду возвращается страх, и я понимаю, что спуск с дерева окажется для меня предприятием слишком рискованным. Потеет и становится скользкой ладонь, обхватившая ствол. Над головой – черное небо, под ногами – черная бездна, тьма непроглядная. Желтая луна млеет, как сахарный леденец, в твоей ладони. И думать забыла о своих непосредственных обязанностях. Ей бы светить, как полагается порядочному ночному светилу. Так нет ведь – уснула, забыла, и разбирайся теперь со своими страхами, как хочешь. Закрываю на миг глаза. Ощущения – те же, что испытывает, наверное, глупый котенок, который забрался на макушку дерева и только потом сообразил, насколько опасным может оказаться обратный путь.

«Здорово, да?» – шепчешь ты. Я угрюмо киваю: еще бы. Сидеть рядом с тобой где-то под облаками и прощаться с жизнью – вот оно, настоящее счастье. Твое лицо теперь совсем близко, и я вдруг понимаю, что тебе тоже страшно. Этот страх, притаившийся в самой глубине любимых глаз – страх, тысячи раз поменявший свое имя и изменивший лицо до неузнаваемости, и все-таки разгаданный, рассекреченный мною – буквально парализует меня. Кончики пальцев теряют чувствительность, гулкие удары крови в висках затихают. Предательский запах мальчишеского пота доносится из подмышек. В звенящей тишине думаю о том, как спустя миллионы лет какой-нибудь ученый-археолог обнаружит на ветке доисторического дерева останки двух человеческих существ, намертво прилипших к стволу, и защитит на этом материале кандидатскую диссертацию, доказав по совокупности определенных признаков, что существа эти умерли от страха.

Я думаю об этом потому, что глупые мысли всегда помогают мне отвлечься от неразрешимых проблем. Ведь на самом деле, если даже нам с тобой и вправду суждено умереть от общего страха, сидя на ветке дерева, то нас обнаружат гораздо раньше.

Твоя ладонь, уставшая держать луну на вытянутых пальцах, слегка подрагивает.

«Может, хватит уже», – раздраженно шепчу я. Ты молчишь, демонстрируя всем своим видом патологическую глупость моего предположения. Вздыхаю и протягиваю руку, предлагая помощь. Ты тихонько улыбаешься, полная искренней благодарности – твоя рука на самом деле очень сильно устала. Чтобы дотянуться до луны, мне приходится обхватить ногами соседнюю ветку и

уцепиться правой рукой за какой-то обломок, выпирающий из ствола. Смертельный номер, достойный великого эквилибриста. Но мне уже не страшно – мои влажные пальцы соприкасаются с твоими, нежными, и согретый их теплом круглый желток луны медленно перекачивается в ладонь. Слегка сгибаю ее, лодочкой, играю по правилам, и получаю в ответ еще одну из твоих драгоценных улыбок. Снова зуд в области лопаток, но крылья сейчас ни к чему – большегодились бы когти, или длинный хвост, который можно было бы обмотать вокруг ствола. Мобилизую скрытые внутренние резервы, запускаю в действие какую-то древнюю китайскую методику, подробно описанную в журнале «Здоровье», номер десятый, за 1982 год. Этот старый журнал как-то попался мне в поезде, мы возвращались с матерью из санатория, и я читал его всю ночь, лежа на верхней полке, при тусклом свете крошечной электрической лампочки. Методика срабатывает, обезьяний хвост туго обхватывает дубовый ствол, страх постепенно отступает и исчезает совсем.

Ты потираешь рукой затекшее от неподвижности плечо. Наклонив стриженую голову, улыбаешься снова, немного лукаво. Луна, лежащая у меня на ладони, отражается в твоих глазах – в каждом черном зрачке по одной крохотной луне. Всего получается три, и я уже не знаю, какая из них настоящая. Я думаю о том, как же это здорово – гулять с тобой по ночам в парке, ни капли не тревожась, что наше отсутствие обнаружит кто-то из взрослых. Тебе нет равных в конспирации, и моя древняя китайская методика отдыхает, пасуя перед твоей колдовской способностью находиться в двух местах одновременно. Ты спокойно сидишь на дереве, и в эту же секунду спишь в своей постели, спишь, отвернувшись к стене, стриженная русая голова на белой подушке, дышишь неслышно. А если проверить, совсем не дышишь, но проверять это никому не приходит в голову. Однажды я посмел заикнуться насчет старого парика, который мы с тобой обнаружили на чердаке у соседей, и ты смертельно обиделась. Ушла, хлопнув дверью, и перестала приходить в парк по ночам. И не приходила до тех пор, пока я не вымолил у тебя прощения на коленях, пока не поверил в твой дар, в твою способность параллельного существования, безотносительного раздвоения, в твои колдовские, ведьминские чары. Только тогда я был прощен и снова допущен в наш ночной мир, где без тебя мне было так пусто и одиноко.

Какая-то птица, взмахнув крыльями, растревожила ночную тишину. Почти сразу издали донесся грохот ночного трамвая, разрушая ощущение счастливой обособленности от пространства и времени, всегда сопутствующее нашим ночным прогулкам. Ты хмуришься, на лбу отпечатывается четкая складка, которой когда-нибудь суждено будет стать твоей первой морщинкой. Я

допускаю, что это может случиться лет через сто, никак не раньше.

«Пойдем», – вздыхаешь ты, внезапно потеряв интерес к луне, продолжающей лежать у меня на ладони. Ты даже не смотришь на нее, и я безвольно опускаю обмякшую тряпичную руку, прозаически уверенный в том, что луна с неба никуда не свалится. Так и есть – луна остается висеть на своем небе. Я сразу про нее забываю, заморожено смотрю на тебя, вижу, как ты спускаешься вниз, от ветки к ветке, бесстрашная, как неразумное дитя, не ведающее об опасностях, которые подстерегают на каждом шагу.

«Ну же!» – доносится насмешливый голос снизу. Начинаю спускаться, хватаясь за ветки слегка дрожащими и скользкими от страха пальцами, потому что ничего другого мне не остается. Выдохнув, шумно приземляюсь и неловко падаю на землю, больно ударившись плечом. Ужасно хочется плакать, сил совсем не осталось, и я безвольно откидываюсь назад, растягиваюсь во всю длину на траве, еще не остывшей от дневного тепла. Раскинув пошире руки и ноги, застываю в позе витрувианского человека. Закрываю глаза, но все равно вижу тебя. Ты скачешь, продвигаясь вперед на одной ноге, к дальним кустам, где тускло белеет твоя босоножка. Смешная, думаю я, и сердце сжимается, превращаясь в комок нежности. Обрато ты возвращаешься тем же способом, подпрыгивая, босоножка в руке – глупая, думаю я, и сердце сжимается снова. В том, что ты сейчас упадешь на траву рядом со мной, сомневаться не приходится. Мысленно воздаю хвалу собственной импровизации – конечно же, идея великолепная, она просто не может тебе не понравиться. «Здорово», шепчешь ты, уже совсем рядом, и твой шепот нежно щекочет мое ухо. Приоткрываю один глаз – возле моей щеки хлопают твои ресницы. Над головой звезды, и ты тотчас придумываешь для нас подходящее занятие. Впрочем, считать звезды тебе вскоре надоедает, и ты начинаешь, посмеиваясь, старательно сбивать меня со счета – это нравится тебе гораздо больше, и на сорок пятой звезде я окончательно сдаюсь, получая в награду легкое прикосновение губ. Приподнимаюсь на локтях, пристально и строго вглядываюсь в твое лицо. Убеждаюсь, что этот поцелуй, как всегда, был всего лишь плодом моего воображения, и снова упираюсь затылком в жесткую и сонную траву, сопровождая эту серию бессмысленных движений глубоким вздохом.

Ты начинаешь медленно водить пальцем по небу, на ощупь отыскивая ковш Большой Медведицы. Заблудившись в звездах, так похожих одна на другую, разочарованно вздыхаешь. «Вот же», – бормочу я тебе в ухо, беру в руку твою ладонь. Ты послушно вытягиваешь указательный палец, он соединяется с моим

указательным пальцем – объединившись, вместе они достаточно быстро находят оба ковша, и большой, и малый. Я думаю о том, что люблю тебя, а ты просишь отыскать теперь созвездие Гончих псов, о котором я не имею ни малейшего представления. Но благополучно справляюсь и с этой задачей, нахожу для тебя еще с десяток созвездий, по большей части придуманных мною, не существующих. Последнее нравится тебе больше всего. Дорожка крошечных звезд на самом краю неба, похожая на рассыпавшиеся жемчужины. «Инга», повторяешь ты и благодарно улыбаешься мне. Я пожимаю плечами: в самом деле, не великий труд отыскать на небе новое созвездие и дать ему твое имя. Вообще-то я способен на большее, если тебе интересно. Ты только скажи – вот увидишь, я и звезду с неба достану.

«Хочешь звезду?» – спрашиваю тебя. Твоя стриженная голова лежит у меня на плече и пахнет горьким тимьяном. За один только этот запах я готов продать душу дьяволу. «Зачем?» – интересуешься ты в ответ равнодушно. «Зачем?» – мысленно переадресовываю себе этот нехитрый вопрос и не нахожу на него ответа. Ты резко садишься, закидываешь руки за спину, соединяешь в замок и выгибаешься – этому фирменному движению позавидовала бы самая грациозная кошка, окажись она сейчас рядом с нами.

Кошки поблизости нет, мы только вдвоем, но время наше уже истекло – скоро рассвет, пора возвращаться, пора расставаться.

* * *

День выдался на редкость тяжелым.

Игорь Валерьевич Истомин, профессор из отделения травматологии третьей городской больницы, вытер рукавом капли пота, поблескивающие на лбу мелким бисером, и тихо вздохнул.

Девушка, лежащая сейчас на больничной койке, определенно была любимицей фортуны. Фавориткой всех богов, и у этих богов наверняка отыскалась какая-то очень веская причина для того, чтобы воспользоваться своим могуществом и не дать ей умереть.

На вид ей было не больше двадцати. Хотя по документам, которые, к счастью, удалось обнаружить, она была на целых шесть лет старше. В больницу ее доставили без сознания. Дежурный врач «скорой» заявил безапелляционно: ушиб мозга и кровоизлияние – это как минимум. Прогноз неблагоприятный. Истомин вопросительно поднял бровь: диагноз невозможно было поставить лишь на основе первичного внешнего обследования. Дежурный врач развел руками: видел бы ты, во что превратилась ее машина...

Истомин на месте аварии не был и машины не видел. Гематома, и в самом деле, была внушительной, вероятность обнаружения закрытой внутричерепной травмы исключать было нельзя. Но не прошло и нескольких минут, как сознание вернулось. Выраженной асимметрии лица и анизокории не наблюдалось, что уже обнадеживало. Головокружение и тошнота могли быть признаками обыкновенного сотрясения. Степень глубины и длительности потери сознания, коррелирующая со степенью тяжести травмы, также не давала оснований для неблагоприятных прогнозов. Оценка показателей жизненно важных функций более чем обнадеживала, и признаков, указывающих на наличие повреждений внутренних органов, тоже не было. Хотя все тело было покрыто синяками и ссадинами.

Как показало дальнейшее обследование, сотрясением мозга дело и ограничилось. Очаговая неврологическая симптоматика полностью отсутствовала. Что касается ретроградной амнезии – этот симптом был в числе классической триады при диагностике сотрясения, и особого беспокойства у Истомина не вызвал. Потеря памяти при травмах подобного рода – явление часто встречающееся и весьма кратковременное, длящееся от нескольких минут до нескольких часов. Обезболивающие и седативные средства, период спокойного сна, повторный осмотр – и можно уже не волноваться. Два-три дня стационарного наблюдения, после чего – выписка домой с наилучшими пожеланиями и стандартным больничным листом.

Пациентку привезли вечером. Смена Истомина как раз заканчивалась, и он распрощался с ней до утра. Оказавшись вне пределов больницы, и думать забыл об этой Инге Петровой. Случай вполне рядовой, ничем не примечательный...

А утром, зацепив одним глазом кадры из местных новостей по телевизору, застыл перед экраном, как вкопанный. Теперь-то он понял, что означали слова дежурного врача «скорой», побывавшего на месте происшествия и увидевшего все своими глазами. И в очередной раз поймал себя на мысли о существовании

высшей силы. Да, девчонка, определенно, была на хорошем счету в небесной канцелярии – по идее, в девяноста девяти случаях из ста в подобной ситуации от нее не осталось бы даже трупа. Машина, за рулем которой она сидела, сгорела дотла. Превратилась в груды черного, обуглившегося, металла. Машина горела почти два часа адовым пламенем. А ее, девчонку, каким-то чудом выбросило в кювет. Каким-то чудом...

Истомин вздохнул и мысленно перекрестился. В бога Игорь Валерьевич Истомин, воспитанный в семье несгибаемых и убежденных атеистов, не верил с самого детства. Но иногда ничего другого не оставалось. Медицина, как это ни парадоксально, в определенный момент жизни и привела его к мысли о боге. К мысли о существовании несуществующего бога. За годы его работы в клинике бог доказывал Истомину факт своего бытия не один десяток раз. Впрочем, хватило бы и одного. С тех пор, как двадцать лет назад в его практике имел место случай совершенно необъяснимого с точки зрения медицины выздоровления пациента, он никогда не забывал мысленно перекреститься перед операцией.

Сейчас Инга Петрова лежала на больничной койке и молча смотрела в потолок. Состояние пациентки было вполне удовлетворительным и почти соответствовало норме. В пределах нормы было артериальное давление, пульс, дыхание и температура тела.

Вне пределов нормы был только один показатель.

И это смущало Истомина. Спустя двенадцать часов после травмы память обычно восстанавливалась полностью, за исключением периода времени, непосредственно предшествующего моменту наступления сотрясения. В некоторых случаях к этому времени память восстанавливалась не полностью, а частично.

Этот случай, как оказалось, был особенным.

– Ничего, – повторила Инга Петрова. – Абсолютно ничего, доктор.

Лицо у пациентки было бледным, глаза – испуганными.

– Не переживайте так. Вторичных повреждений у вас не выявлено, но на всякий случай я назначил вам энцефалографию.

– Абсолютно ничего, – снова повторила она, как будто его не слышала.

– Такое бывает, – сказал он, только ради того, чтобы что-нибудь сказать. Подобные случаи многократно описаны в различных научных исследованиях, в учебниках по теории психологии и патологии памяти. Но за двадцать лет практики Истомина такого еще не случилось никогда.

Лицо девушки исказила гримаса страдания. Хотелось сказать ей что-нибудь... что-нибудь человеческое, обнадеживающее. Но чертова «энцефалография» вертелась на языке, а других, человеческих и обнадеживающих слов, вовсе не находилось.

Больничные стены, выложенные светло-голубым кафелем, выцветший тюль на зарешеченных окнах, запах лекарств, а особенно застиранный больничным пододеяльник, который Инга Петрова натянула на свои худенькие плечи, до самого подбородка – все это совершенно ей не подходило. И слово «энцефалография» тоже не могло иметь ничего общего с Ингой Петровой. Ей бы бегать сейчас на лугу среди разноцветных бабочек, или сидеть в просторной зале у камина, натянув на плечи мягкий шерстяной плед, но уж никак не пустой больничным пододеяльник.

И что это он так расчувствовался?

– Память вернется, – спокойным голосом, стараясь почему-то не выдать захлестнувших его эмоций к этой девчонке, почти ровеснице его дочери, проговорил Истомин. И добавил все-таки про злосчастную энцефалографию, высказав уверенность, что результаты ее окажутся весьма и весьма утешительными.

– Когда? – хрипло прошептала Инга Петрова, всерьез ожидая, что он сейчас назовет ей дату возвращения ее памяти с точностью до секунды. Будто бы это и в самом деле в его власти.

– Послушайте, – теперь тон его изменился, стал строгим, вполне подходящим ситуации. – Вы хоть представляете, как вам повезло? Вы чудом, слышите, чудом

остались живы! В таких авариях люди не выживают! Люди сгорают заживо в салоне автомобиля! Вот что происходит! Вы же отделались всего лишь ушибами и пустяковым сотрясением мозга!

Заметив, как испуганно она съежилась под больничным одеялом, Истомин мысленно выругался.

- Память вернется к вам, - повторил он и вышел из палаты.

* * *

- Память вернется к вам.

Слова гулким эхом отразились от стен, и некоторое время еще висели в воздухе, прямо над кроватью. Слова пропитывались больничным запахом и приобретали привкус лекарства. Успокоительной таблетки, той самой, что лежала сейчас на тумбочке. Сколько таких таблеток за прошедшие с момента аварии дни она уже проглотила? И сколько раз она уже слышала эти слова? Сто, а может быть, двести раз? «Память вернется к вам», - говорил ей каждое утро, каждый вечер и каждый день доктор Истомин. «Память вернется к вам», - твердили медсестры, пряча в глазах неуместную жалость с приторным привкусом любопытства. Инга слышала, как они шептались за дверью палаты: «Что, совсем ничего? Вообще ничего не помнит?» «Память вернется к вам», - говорили невропатологи, дежурные врачи, даже санитарка баба Тася не преминула выразить свою уверенность в том, что Ингина память вернется.

Они все были уверены в этом. Как будто знали, что Ингина память просто вышла во двор покурить. Как будто видели, как она спускалась по лестнице, как обернулась, махнула рукой... «Эй! Передайте Инге Петровой, я скоро вернусь. Пусть не тревожится...»

Она уже не слушала никого. Шок от случившегося остался позади, она пережила и это, хотя до сих пор не понимала, как. Все твердили ей про аварию, но никто не знал, что никакая, даже самая страшная на свете авария, не сравнится с тем ощущением полной потери ощущения собственного бытия, которое пережила она в момент возвращения сознания. Ни о какой аварии она понятия не имела. Не помнить аварию - это было совсем не страшно. Гораздо страшнее был вопрос,

постоянно звучащий в голове, настойчиво требующий ответа. Совершенно идиотский с точки зрения нормального человека вопрос.

«Кто я?»

На следующее утро, в промежутках между приступами головной боли, она узнала о том, что ее зовут Инга. Инга Петрова. Бригада врачей обнаружила документы в кармане ее куртки. Фотография на паспорте не оставляла сомнений в том, что она и есть Инга Петрова.

Тысячи раз мысленно она повторила про себя это имя. Загадала: если будет настырно твердить его до позднего вечера, то память сдастся. Память откликнется – ведь целых двадцать шесть лет, если верить паспорту, ее называли этим именем.

Память не откликнулась. С тем же успехом Инга могла бы до позднего вечера снова и снова повторять какую-нибудь собачью кличку, или имя звезды Голливуда, или абсолютно бессмысленный набор гласных и согласных звуков – результат был бы тем же самым. Слово «Инга» ни о чем не говорило. Ни о чем не напоминало. Оно было ни на что не похоже. Ни на что, кроме... кроме окончания глаголов настоящего времени в английской грамматике.

Вот ведь как – английские глаголы она не забыла. И много еще чего не забыла. Первый, самый ужасный день в больничной палате весь без остатка был заполнен этими странными открытиями. Я знаю, что такое окно, думала Инга, когда смотрела в окно. Я помню, что такое ветер, думала Инга, кутаясь в больничное одеяло, когда из приоткрытой форточки залетал в палату холодный осенний ветер. Я помню, что такое больница, убеждалась Инга, вдыхая запах лекарств и прислушиваясь к характерным звукам за стеной. Каждый предмет из окружающей ее обстановки был подвергнут этому необычному анализу. И каждый раз память отзывалась. Легко и спокойно: «Осень? Боже, что за вопрос! Осень – разноцветное время года, с запахом прелой земли и сгорающих листьев, предшествует зиме... Зима? Легче легкого! Зима белая, снежная, холодная, зимой бывает Новый год, елка... Елка? Елка зеленая, колючая, пахнет елкой... Инга? Инга Петрова? Инга Петрова...»

На этом вопросе память каждый раз спотыкалась. Имя ни о чем ей не говорило. Фотография в паспорте ни о чем не говорила. Отражение в зеркале ни о чем не

говорило. Ей казалось, что ее обманули. Подсунули чужие документы, подменили лицо. Она проводила кончиками пальцев за ушами, пытаясь отыскать шрамы, следы от пластической операции. Ничего не находила. Снова смотрела на фотографию в паспорте. Снова подносила к лицу зеркало. Смотрела подолгу в незнакомые глаза, пытаясь привыкнуть. Это мои глаза, шептала она беззвучно. Это – я. Я, Инга Петрова...

Инга Петрова. Вымышленный персонаж. Пластмассовая кукла с пустой головой.

«Вам повезло, что вы остались живы! В таких авариях люди не выживают!» – сказал ей как-то, рассердившись, доктор. Этот мужчина с абсолютно седой головой и грустными темно-кариими глазами, конечно же, был ни в чем не виноват. Поэтому она не стала грубить ему в ответ, не стала объяснять что понятие жизни не некоторых частных случаях бывает весьма относительным.

На третий день пребывания в больнице она сдалась: стало очевидно, что ни собственное имя, ни фотография, ни отражение в зеркале ей так ни о чем и не скажут. Зеркало – крошечный прямоугольник, бывшая крышка от чьей-то пудреницы – она отдала обратно заботливой медсестре Маше. Паспорт засунула в тумбочку, в самую глубину пустого выдвижного ящика. Визуальные ощущения оказались бесполезным орудием в борьбе с уснувшей памятью. Окончательно смирившись с этим, она долго лежала на спине, уставившись в потолок, потом перевернулась на бок – и вдруг поймала себя на мысли, что лежать на спине ей было гораздо удобнее и приятнее.

Ощущения, которые испытала Инга, сделав это открытие, были почти счастьем. Вот ведь, оказывается, она предпочитает лежать на спине. Это ее собственное, ее личное предпочтение, оно уж точно принадлежит ей, и этого у нее никто не отнимет. Вдохновившись этим открытием, она сосредоточилась на своих внутренних ощущениях. Сходя с ума от нетерпения, дождалась наконец, когда в палату заглянет санитарка и позовет на завтрак. Манная каша – почти холодная, с различимыми бугорками слипшейся непроверенной крупы – Инга дегустировала ее с затаенным трепетом, полностью отключившись от внешнего мира, сосредоточившись на своих вкусовых ощущениях, будто от них сейчас зависела ее жизнь. После третьей ложки сомнений в том, что манная каша ей не нравится, не оставалось. Кусочек сливочного масла на тарелке, здесь же – два куска хлеба, черный и белый. Белый хлеб с маслом почти сразу вызвал чувство протеста, зато черный хлеб, намазанный маслом, понравился. Сладкий некрепкий чай остался недопитым. Видимо, она предпочитает крепкий и

несладкий.

Вскоре после завтрака из приоткрытого окна в палату залетел слабый запах табачного дыма. Как ошпаренная, Инга вскочила с кровати. Голова закружилась – она едва удержалась на ногах, оперлась рукой о стену, не собираясь сдаваться. Комната для курения находилась в дальнем конце коридора. Женщина средних лет, присев на край чугунной батареи, в одиночестве докуривала «Мальборо-лайт», пачка виднелась из кармана ее больничного халата. Испуганно отшатнулась, когда Инга едва ли не вырвала у нее из рук эту пачку. Удивленно вскинула брови, увидев, как она закашлялась, согнулась почти по полам, заметила, что из глаз брызнули слезы. «Не куришь, что ли? Зачем же тогда...» Инга не дослушала, не ответила на вопрос. Объяснять, «зачем же тогда» было бы слишком долго, да и ни к чему.

Любая мелочь, любая незначительная деталь – короткая фраза, запах, ощущение – могли вернуть память. В поисках этой незначительной детали она провела первую половину дня, полностью захваченная им, с лихорадочным блеском в глазах, как охотник, преследующий добычу. Не так уж и много удалось ей узнать о себе, и все же все эти мелочи казались ужасно важными. Это и был тот самый хрупкий мостик, соединяющий ее с прошлым. С забытым прошлым. С той Ингой Петровой, которая любила крепкий несладкий чай, черный хлеб, намазанный тонким слоем сливочного масла. Которая не курила, или бросила курить давным-давно и совсем уже разучилась это делать.

Стоя у окна, она пристально вглядывалась в краски осени, раскинувшейся за окном. Сочная палитра середины октября, шорох листьев, подгоняемых ветром, ни с чем не сравнимый запах влажной и все еще теплой земли – осень радовала глаз, уютно умещалась в душе.

Вероятно, она и была ее любимым временем года.

Вечером дежурная медсестра принесла Инге в палату целую кипу разноцветных журналов. В основном это были обзоры новинок видео-рынка. В ту ночь ей не спалось, и она почти до самого утра изучала эти журналы, заново открывая для себя забытые имена и забытые лица.

* * *

На следующий день в ее жизни появился первый человек из забытого прошлого.

С тихим скрипом открылась дверь, и в палату вошел Ален Делон собственной персоной. Зашел, тихонько закрыл дверь и замер, прилипнув к дверному косяку.

Окинув незнакомца хмурым взглядом из-под низко опущенных бровей, Инга тупо отметила, что Ален Делон в самом деле ужасно похож на Алена Делона, того самого, которого она видела в журнале. Только этот Ален Делон был помолодевшим. Лет на тридцать... с небольшим. Похож, ужасно похож! Но еще чуточку похож на Киану Ривза и на Леонардо ДиКаприо. Вот так, три в одном. Однако черты Алена Делона все же преобладали.

Звезда Голливуда, как и полагается звезде Голливуда, была облачена в костюм от Армани-Кардена-Версаче, или кого-то там еще, в длинное, черное, небрежно распахнутое пальто того же производителя, и источала запах дорогущего парфюма. Никаких сомнений – несколько минут назад этот парень лучезарно улыбался в свете софитов, стоя на сцене Кодак-театра и получая свой очередной Оскар. «Я благодарен моим родителям...». Да уж, подумала Инга, она бы тоже была благодарна своим родителям, если бы они наградили ее такой внешностью. И если бы помнила своих родителей. Но это уже другая история.

– Вы ко мне? – спросила она, потянув носом нежную осеннюю сырость, доносящуюся из приоткрытого окна, в очередной раз подумав о том, что в прошлой жизни осень была любимым временем года Инги Петровой.

Посетитель молчал и смотрел на нее, не мигая.

Вспомнив отражение в зеркале – не слишком выразительное треугольное личико, обрамленное куцыми кудряшками непонятного цвета, два слишком больших, густого болотного цвета глаза, лягушачий рот и нос, на который хочется нажать, до того сильно он напоминает кнопку – Инга сразу поняла, что вопрос ее не имеет смысла. Конечно же, этот парень просто ошибся дверью. Наверняка, в соседней палате лежит какая-нибудь примадонна отечественной эстрады или звезда мирового подиума. Вот к ней-то и пришел этот Ален-Киану-Леонардо. На этом празднике жизни Инге Петровой не может быть места. Не вышла ни мордашкой, ни фигурой, родилась не в то время и не в том месте... К тому же еще и память потеряла...

Взять, что ли, у него автограф? Только вот как к нему обращаться?

На самом деле ей было страшно. Ужасно страшно смотреть на этого человека, который, если не ошибся дверью, пришел к ней. К Инге Петровой, которая ничего про себя не помнит. Ей было страшно думать о том, что этот человек может быть частью ее прошлого. Мучительно хотелось, чтобы вместо этого шикарного незнакомца сейчас в палате оказался доктор Истомин. Привычный, знакомый, почти родной доктор Истомин, которого она ненавидела тихой ненавистью за его постоянные обещания о том, что память ее вернется. Доктор Истомин – с его знакомым голосом, знакомыми серебряными нитями в волосах, знакомыми, темно-карими, всегда прищуренными глазами. В знакомом белом халате. А ни в каком ни в черном, длинном и шикарном кашемировом пальто.

Черное кашемировое пальто было ей не знакомым. И светло-серые круглые глаза тоже были не знакомыми. И голос был незнакомым.

А серебряных нитей в волосах вообще не было.

Поэтому Инге было страшно. И ужасно хотелось, чтобы эта звезда Голливуда развернулась и совершила все свои действия в обратном направлении. Так бывает, когда перематываешь видеопленку – человек вдруг начинает быстренько пятиться назад и здоровается в том месте, где ему полагается попрощаться.

Хотелось, чтобы было именно так, как на видеопленке. Чтобы он начал вдруг пятиться, потом поздоровался в том месте, где нужно прощаться, и исчез из палаты вместе со своим пальто, вместе со своим странным выражением лица, прихватив заодно и воспоминания о своем появлении. Как будто его и не было вовсе.

Но пятиться назад и исчезать незнакомец явно не собирался. Поэтому, собрав остатки своего мужества, Инга продолжала отчаянно цепляться за нелепую идею его Голливудского происхождения. Пыталась убедить себя в том, что с ней приключилось очень веселое недоразумение. Что через минуту недоразумение благополучным образом разрешится, извинится, попрощается и удалится ее из палаты, а она еще долго потом будет рассказывать подругам историю о том, как однажды, когда она лежала в больнице с потерей памяти, к ней в палату приперся Леонардо ДиКаприо. То есть, Ален Делон. Не важно, пусть хоть Киану

Ривз – все равно смешно. Ужасно смешно.

– Вы ко мне? – снова спросила она. Молчание посетителя начинало ее раздражать. И этот его пристальный взгляд – в самом деле, не учат их там что ли, в Голливуде, элементарным правилам этикета?

– Да что вы на меня уставились? – почти злобно прошипела Инга. – Не понимаете, что ли, языка русского? Don't understand?

– Инга, – тихо проговорил мужчина. И наконец отлепился от дверного косяка, сделав шаг навстречу.

Инга напряглась. Наверняка, на дверь ее палаты добрый доктор Истомин повесил табличку. «В этой палате лежит Инга». Конечно же, на табличке он ее имя и прочитал. А откуда еще он мог его узнать? Табличка – весьма подходящее объяснение. Все остальные объяснения были совсем не подходящими, ненужными, неприятными и пугающими. За три дня пребывания в больнице она ни разу не задумалась о том, что у Инги Петровой, которую она забыла, могут быть какие-то друзья, родственники, мужа или любовники...

И даже враги.

Мысль про врагов пришла в голову почему-то именно сейчас, когда незнакомый мужчина неземной красоты приблизился к ней, подошел почти вплотную к кровати и опустился на корточки. Намерения у него были явно не вражеские. Длинное черное пальто неудобно расположилось вокруг незнакомца на пыльном полу. Знала б санитарка баба Тася, что нынче в палату пожалует такая персона – наверняка, постаралась бы и отдраила пол до блеска.

Алена-Киану-Леонардо пальто совсем не беспокоило. Теперь он смотрел на Ингу снизу вверх, прямо в глаза, и во взгляде его четко проглядывала растерянная нежность.

Система Сатиславского. Отличный актер, подумала Инга, из последних сил цепляясь за дурацкие мысли о принадлежности этого парня к числу обитателей фабрики грез. Он забрел в эту палату случайно, напомнила она себе, и почему-то сжала пальцами пустой край наволочки. Пальцы побелели, и кончики ногтей побелели тоже, а кожа под ногтевой пластинкой, наоборот, стала темной.

«Французский маникюр», пронеслось в голове, потерявшей память. Но легче от этого не стало.

– О господи. Инга, – хрипло выдохнул незнакомец и невольно повторил ее движение, стиснув длинными пальцами пианиста пустой край пододеяльника.

Теперь они сидели вдвоем, вцепившись в предметы постельного белья, и тарачились друг на друга. Вернее, это он тарачился на Ингу, а Инга пристроила взгляд на его пальцах с таким же французским маникюром, как и у нее. И усиленно рассуждала о том, какие они длинные и тонкие, эти пальцы. Совсем, абсолютно не мужские.

Пианист? Инга не могла вспомнить ни одного пианиста. Наверное, она была равнодушна к классической музыке.

– Я...

Она собиралась честно сказать, что не знает его. Что напрасно он изображает эту фатальную нежность во взгляде – ей все равно, эта нежность не может ее коснуться, потому что она ей не принадлежит. Что если они и встречались раньше, в той, другой, жизни, то теперь эта другая жизнь для нее недоступна, она для нее чужая, и любой человек из этой не принадлежащей Инге жизни теперь для нее чужой. И Аллен-Киану-Леонардо, который смотрит на нее ужасно ласково и тревожно, теревит длинными пальцами край больничного пододеяльника и называет ее Ингой – тоже чужой. Пусть называет – это ровным счетом ничего не значит. И ничего не меняет.

Она уже набрала воздуха в легкие, чтобы озвучить свои мысли, но в этот момент произошло непредвиденное. Звезда Голливуда быстро наклонила голову и пощечья уткнулась носом в ее коленку. В голую Ингину коленку, острую и стыдливо торчащую из-под больничного халата.

Инга замерла, перестала дышать. Теперь она видела только его макушку, темно русую, видела крошечный островок белой кожи на голове, из которого в разные стороны расходились прямые и жесткие волосы.

Незнакомые волосы.

– О господи, – выдохнула Инга.

Как будто эта дурацкая больничная палата была православным храмом, и они с пианистом специально пришли сюда, чтобы помолиться.

Нос у пианиста был холодный, как у здорового щенка, и даже чуть-чуть влажный. Инга почувствовала прохладу и влажность этого чужого носа теплой голый коленкой, согретой хлипким больничным одеялом.

– Я... – снова начала она и снова замолчала.

Это было ужасно неудобно – разговаривать с ним, чувствуя кожей, как струйка его теплого дыхания сбегает вниз по ноге, касаясь голый пятки, слыша его тихое и сосредоточенное сопение, вызванное, по всей видимости, тем, что он слишком сильно сдавил ноздри, усердно прижимаясь к ее коленке. Ужасно неудобно. Неприятно, глупо и в высшей степени странно.

Чтобы убрать его голову, ей пришлось коснуться ее ладонями и слегка сдавить в области висков. Она взялась за его голову так, как берутся обычно за кастрюлю, у которой с каждой стороны по ручке – чтобы переставить эту кастрюлю в другое место. И ощутила под пальцами жесткий шелк волос.

Ощущение оказалось приятным. Невольно закрыв глаза, она позволила себе на несколько секунд – не больше, чтобы пришелец ничего не заподозрил – сконцентрироваться на этих волосах, точно так же, как совсем недавно она концентрировалась на черном хлебе с маслом или на запахе сигарет. Широко растопырив пальцы, она быстро пропустила между ними темно-русые хрустящие волосы, но так ничего и не вспомнила. Волосы были как волосы, на ощупь, кроме мягкой щетки, ничего не напоминали, и пахли каким-то совершенно обыкновенным мужским шампунем и совершенно необыкновенным мужским одеколоном сразу.

Только и всего.

– Уберите, пожалуйста, вашу голову с моего колена, – хмуро попросила Инга. – Мне так совсем неудобно с вами разговаривать.

Он тотчас поднял на нее глаза. Чуда не произошло – глаза остались незнакомыми. Хотя на чудо она и не надеялась. То место на коленке, которое стало холодным от его носа, почти сразу согрелось несущейся по венам кровью и стало прежним, ничем не отличимым от остальной коленкиной кожи островком. Ну и слава богу, подумала Инга и прикрыла коленку пододеяльником.

– Ты... – все тем же простуженным шепотом заговорил пришелец. – Ты правда?... Ты правда меня... не узнаешь? Не... помнишь?

Вид у него был испуганный и жалкий. Точно такой же вид, как у самой Инги. И это в чем-то сближало их. Два испуганных и жалких человека, два взгляда-близнеца. Она вдруг поняла, что пришелец с холодным носом, пальцами пианиста и внешностью кинозвезды боится Ингу точно так же, как она боится его. И оба они боятся друг друга по какой-то общей причине. Ей стало чуточку легче.

– Не узнаю, – подтвердила она. – Не помню.

– Инга, – повторил он свое заклятье.

Волшебство не подействовало. Как будто в больнице были установлены специальные глушители для заклятий. Наподобие тех, что устанавливают в некоторых местах, подавляя сигналы сотовой связи. Он мог повторить ее имя тысячу раз – результат был известен наперед. Она сама накануне твердила это дурацкое имя часов десять подряд. Бесполезно.

Некоторое время они молчали. Сейчас он уйдет, подумала Инга с надеждой. Вот посидит еще минуту-другую на корточках возле больничной койки, посмотрит на нее своими круглыми светло-серыми глазами, убедится в том, что она его не помнит, и уйдет. А что ему здесь делать? Если человек тебя не помнит – значит, он тебя не знает. А если человек тебя не знает, значит, нечего сидеть у него в палате на корточках, расстелив на пыльном полу свое дурацкое черное пальто, нечего тарашиться на него и изображать вселенскую скорбь и неистребимую надежду. Незнакомые люди так себя не ведут. Должен же он наконец понять это?

Сейчас он поднимется и уйдет, в который раз подумала Инга.

Но вместо этого ее настойчивый посетитель вдруг заговорил. Торопливо и сбивчиво, проглатывая окончания слов, обрывая фразы. Все так же сидел на корточках возле ее постели, смотрел на нее снизу вверх и тараторил без остановки:

- Ты не бойся. Не бойся, слышишь? Такое бывает. Я с доктором... С доктором разговаривал сейчас. Он мне сказал, что бывает. Он сказал, не надо. Не надо волноваться. Главное, у тебя никаких травм нет. А память вернется. Постепенно. Нужно успокоиться. Вот увидишь. Ты просто пережила сильный шок. Он сказал, что это от шока, а не от сотрясения. Но и от сотрясения тоже. Но больше от шока. И вообще, это не важно. Я сам в медицинском справочнике читал. Я...

Он замолчал так же внезапно, как и заговорил. Как будто кто-то его сначала включил, а потом выключил. Помолчал несколько секунд, по-прежнему не отводя настырного серого взгляда, а потом снова пробормотал:

- Инга...

И повесил голову, опустив ее на сложенные между колен руки.

Инга вздохнула почти облегченно: лучше все же смотреть на его темно русую макушку, на крошечный островок белой кожи на голове, из которого в разные стороны расходятся волосы, прямые и жесткие, чем смотреть в глаза.

А еще лучше - если бы он совсем ушел.

Больше всего на свете ей хотелось сейчас вернуться в свой привычный маленький мир - одинокая палата, обеды и завтраки по расписанию, доктор Истомин с его ненавистным оптимизмом, приглушенный шепот среднего медицинского персонала. Ее единственное целое и невредимое прошлое. Пусть протяженностью в три дня, но все же существующее. Поскольку другое прошлое Инги Петровой было потеряно безвозвратно, приходилось ценить и хранить то, что было. Только вот как объяснить все это пришельцу?

Он поднял голову. Взгляды снова налетели друг на друга, столкнулись, произведя на свет небольшую искру. Но ожидаемого пламени не последовало - Инга первая отвернулась. В его глаза смотреть было ужасно тяжело. То же самое, что смотреть в зеркало и не видеть в нем своего отражения.

Он накрыл ее руку своей, заставив вздрогнуть. С каким-то тупым равнодушием она смотрела теперь, как пальцы исчезает в его ладони. Густые и чуть-чуть лохматые брови сошлись на переносице, образуя заметную, достаточно глубокую складку. «Лет тридцать... Или тридцать с небольшим», – подумала она, изучая морщинку. Лицо его теперь было сосредоточенным, и был он похож на испуганного неожиданно проснувшейся нежностью подростка. Если бы не морщинка...

Вот ведь, подумала Инга. Как много всего она, оказывается, помнит. К списку «опознанных» предметов и явлений добавилось еще одно – испуганный неожиданно проснувшейся нежностью подросток. Инга определенно знала, как он должен выглядеть. Точно так же, как обыкновенная звезда Голливуда, шагнувшая в больничную палату провинциального российского городка прямо с экрана телевизора. Специально, чтобы посидеть немножко на корточках возле постели Инги Петровой, потерявшей память.

– Кто вы? – спросила она, теряя терпение. – Хотя бы имя свое скажите.

– Горин, – ответил он, не поднимая взгляда.

– Горин – это фамилия, – раздраженно поправила Инга. Фамилия ей ни о чем не говорила.

– Правильно, – подтвердил Горин. – Фамилия.

И даже как будто немножко обрадовался тому, что Инга сумела отличить фамилию от имени. Не поднимая глаз, он продолжал перебирать ее пальцы. Косичку, что ли, хочет из них заплести? Издевается над ней, что ли?

– Я про имя спрашивала у вас! Имя-то у вас есть? Иван какой-нибудь, или Петр, или там Аркадий!

Горин улыбался. Испуг с его лица исчез, словно и не было.

– Перестань называть меня на вы.

– О господи... – Инга выдернула руку. Пальцам сразу стало холодно и неудобно, и она даже слегка обиделась на свои пальцы, отозвавшиеся на ласку этого дурацкого Горина так, словно он имел над ними какую-то власть. – Вы что же, совсем ничего не поняли? Вообще ничего, да? Я вас не знаю! Не помню, значит, не знаю! Вы что от меня хотите? Чего вы от меня ждете?

– Прости, – сказал Горин миролюбиво и грустно. – Прости, Инга. Знаешь, в это трудно поверить. И привыкнуть к этому трудно.

– Знаю. Но ничем помочь не могу. Ни вам, ни себе. Может быть, вы уйдете?

– Ну что ты. Куда же я от тебя уйду. Я три дня с ума сходил. Я телефон свой сотовый в форточку выбросил. Двое суток пытался до тебя дозвониться, а потом разозлился на него и выбросил в форточку. И домашний аппарат расколотил тоже. Об стенку швырнул – так, что из него все внутренности вывалились. А потом случайно увидел сюжет по телевизору, и...

Горин грустно замолчал.

– И разбили телевизор? – злорадно подсказала Инга.

– Нет, не разбил, – серьезно и просто ответил Горин. – Сразу узнал, в какой ты больнице, и вот приехал. Пожалуйста, не называй меня на вы, Инга.

– Господи, ну неужели вы... неужели ты... не понимаешь? Я не знаю, я не помню ничего! Я вас... Я тебя... Кто ты вообще такой?

– Я Горин, – напомнил Горин. – Я люблю тебя. А ты любишь меня.

– Я люблю черный хлеб, намазанный маслом! – окончательно потеряв терпение, выпалила Инга. – Люблю лежать на спине! Люблю запах осени! Вот все, что я про себя знаю!

– Черный хлеб, намазанный маслом, – радостно улыбнулся Горин. Его реакция, как успела заметить Инга, была непредсказуемой. Только что он выглядел ужасно печальным, а теперь печаль исчезла, уступив место мальчишеской радости. – Только чтобы масло непременно было мягким, и чтоб намазано оно

было очень тонким слоем. Вот видишь, ты вспомнила. Но... меня ты любишь все же сильнее, чем черный хлеб.

Они помолчали немного. Потом Инга подняла глаза и сказала беспомощно:

– Сегодня утром я почувствовала запах табачного дыма. Из форточки. И бросилась как сумасшедшая в комнату для курения. Попробовала курить, затянулась. Потом долго кашляла.

Она и сама не знала, зачем это сказала. Как будто белый фланг выкинула. Сдалась на милость победителя. Признала, что этот самый Горин, которого она абсолютно не помнит, имеет полное право сидеть на полу возле ее постели и сжимать ее пальцы в своей жесткой ладони. Если уж он так уверен в том, что она любит его все же сильнее, чем черный хлеб.

– Бедная моя, – пробормотал он, уткнувшись губами в ее ладонь. – Моя хорошая...

«Черт, – подумала Инга, – зачем он так сидит?»

Ей ужасно не нравилось, что этот Горин сидит перед ней на корточках и заставляет ее все время смотреть на него сверху. Как смотрят обычно взрослые люди на маленьких детей. Наверное, если бы он так не сидел, она бы давно уже его прогнала. Но прогонять Горина, который смотрел на нее снизу вверх, ей было неудобно.

Или, может быть, ей просто хочется, чтобы он остался?

Что за нелепость, подумала Инга, отгоняя прочь глупые мысли и одновременно выдергивая свою ладонь из прохладной руки Горина. «Я люблю тебя. А ты любишь меня» – пронеслось в голове. Черт, как же это было бы просто, если бы не было так сложно!

Горин выпустил Ингины пальцы из своей ладони без всякого сопротивления – только проводил грустным и немного обиженным, как показалось Инге, взглядом.

– Ладно. Хорошо. Пусть, – отрывисто проговорила она, пытаюсь убедить себя в неизбежности происходящего. – Тогда расскажите... Тогда Расскажи мне. Расскажи, как все было. Кто ты. Как мы познакомились. Что нас связывает. Какие-нибудь подробности. Может, я что-нибудь вспомню. А если не вспомню... Если не вспомню, может быть, просто поверю. Или не поверю, не важно. Просто Расскажи.

– Хорошо, – откликнулся Горин. – Конечно, я Расскажу тебе, как все было. И может быть, ты вспомнишь... Или не вспомнишь. Но я очень постараюсь, чтобы ты вспомнила...

* * *

– Мы познакомились два года назад. Тогда была осень. Совершенно необыкновенная осень, не похожая ни на одну другую. Ужасно теплая и солнечная. С сочными красками. Такую только на полотнах художников и увидишь, а больше нигде. Только я всего этого не замечал и вообще об этом не думал. Это ты научила меня видеть осень и слышать птиц. Если бы не ты – та осень прошла бы точно так же бесследно, как и все остальные осени в моей жизни.

Но в тот день все было совсем по-другому. С утра небо было прозрачным и солнечным, а к обеду вдруг откуда-то налетела туча. Огромная туча величиной с небо. А может быть и больше, чем небо. Я смотрел на тучу из окна машины и думал о том, как эта туча может вообще на небе уместиться. Потом пошел дождь – настоящий ливень, серая непроглядная стена. Капли застучали по стеклу, забарабанили по крыше. Люди на тротуарах бросились врассыпную – кто-то спешил спрятаться под козырьком ближайшего здания, кто-то наивно надеялся укрыться под деревом. Женщины прикрывали волосы сумками и пакетами, подростки громко визжали – началось настоящее столпотворение, а через несколько секунд толпа исчезла и улица стала абсолютно пустой. Асфальт уже был черным от дождя, и в каждой его впадине успела образоваться лужа. Крупные капли, ударяясь о землю, снова взлетали вверх мелкими брызгами, торопливо рисуя на воде идеально ровные круги. Говорят, круги на воде – первый признак того, что дождь будет идти очень долго.

Я подумал об этом и включил дворники, но они очень плохо справлялись со своей задачей. Освобожденный от мутной пелены кусочек стекла почти сразу же

снова становился матовым. Очертания внешнего мира расплывались, и сквозь бесконечную череду сбегающих вниз струй воды почти ничего невозможно было увидеть. Мимо проносились машины, поднимая мутные тучи брызг. Вокруг была одна вода, и невозможно было поверить в то, что еще несколько минут назад город был абсолютно сухим и солнечным.

Моя машина стояла на обочине дороги, напротив входа в офис страховой компании, совсем неподалеку от знака, запрещающего остановку. Выкроив несколько свободных минут из напряженного рабочего графика, я приехал сюда, чтобы заняться оформлением автогражданки, но как-то не подумал предварительно позвонить. Мысли о том, что на свете существуют учреждения, закрывающиеся на обеденный перерыв, как в старые времена, в голове даже не возникло. Но компания была не частной, а самой что ни на есть государственной, и в ней, видимо, никто не был озабочен проблемой подсчета убытков. Никто не интересовался тем, какое именно количество клиентов, наткнувшись среди бела дня на табличку «Обеденный перерыв», круто развернутся, чтобы поискать другую страховую компанию. Никто не умножал это количество клиентов на количество рабочих дней в году...

В общем, я приехал за пятнадцать минут до окончания пресловутого обеденного перерыва. Табличка, выполненная в лучших традициях доперестроечных времен, меня порядком разозлила. И все же я решил не испытывать судьбу – шанс отыскать в течение пятнадцати минут другую страховую компанию был минимальным, гораздо проще было переждать эти пятнадцать минут здесь, чем отправляться на поиски приключений, отягощенных неминуемыми в это время суток пробками на дорогах.

За эти пятнадцать минут окружающий мир изменился до неузнаваемости. Неустанный грохот стучащихся в окна капель дождя стал меня раздражать, и я включил музыку. Первым, попавшимся под руку, оказался давнишний диск лучших песен «Boney M». Я почти никогда его не слушал и даже понятия не имел о том, как он оказался в моей машине – скорее всего, диск оставил кто-то из приятелей, не разделяющих моего пристрастия к чистой классической музыке и тяжелому року. Некоторое время я просто разглядывал его – когда-то прозрачный пластмассовый конверт теперь был весь покрыт мелкими царапинами и выглядел таким же мутным, как оконные стекла. Почему бы и нет, подумал я. Может быть, мне просто лень было снова открывать бардачок и копаться в нем в поисках чего-нибудь более подходящего. Для того, чтобы просто заглушить шум надоевшего дождя, золотые хиты «Boney M» показались

материалом вполне пригодным.

Я включил музыку, повернул до отметки «максимум» регулятор громкости и прикурил сигарету. До конца обеденного перерыва оставалось чуть меньше десяти минут. Дождь же, казалось, не кончится никогда. Откинувшись на спинку сиденья, я глубоко затаился и закрыл глаза, пытаюсь сбросить накопившуюся усталость. А когда открыл снова – увидел тебя.

«Boney M» задорно распевали хит всех времен и народов – «Bahama mama», вот под эту музыку ты и появилась в моей жизни. Музыка совсем не сочеталась с погодой, но как-то удивительно подходила тебе. Звуковой ряд, дополняющий картинку за мутным окном, был просто идеальным. Твоя ладонь скользила по боковому стеклу – вначале я увидел ее, твою ладонь с длинными пальцами в ободках множества тонких серебряных колец. Пальцы сжимались в кулачок и беззвучно стучали в окно – сквозь шум дождя и громкую музыку этот услышать этот стук было невозможно.

Дверца машины приоткрылась. Влажный воздух ворвался внутрь вместе с мелкими брызгами. Через секунду дверца снова захлопнулась. В течение этой короткой секунды ты успела забраться в салон и теперь сидела рядом со мной, абсолютно мокрая, часто дышала и открывала рот – беззвучно, как рыба. Видимо, о чем-то спрашивала меня, но в тот момент мне почему-то даже в голову не пришло убавить громкость приемника – настолько меня поразило твое соответствие этой музыке. Хотя внешне все выглядело иначе – музыка была веселой и бесшабашной, а ты – мокрой и ужасно несчастной. Волосы, собранные в короткий хвост на затылке, превратились в глянцевую сосульку, и с кончика этой сосульки на велюровую обивку сиденья сначала ручьем, а потом быстрыми тяжелыми каплями стекала вода. Короткая челка выглядела жалко и торчала козырьком над мокрыми бровями. Глядя на тебя, я вспомнил принцессу на горошине из старой детской сказки. Она была такая же мокрая и несчастная, когда постучалась в дом к принцу. Только, в отличие от нее, ты была настоящей.

В руке у тебя были туфли. Две темно-коричневых замшевых «лодочки» на высоченных каблуках-шпильках. С трудом оторвав взгляд от этой сюрреалистической картины, я перевел его вниз и увидел твои мокрые ступни. Вокруг них на резиновом коврике была целая лужа воды. Тонкие щиколотки и пальцы, испуганно поджатые внутрь, с едва заметным розовым перламутром на коротких овальных ногтях.

На самом деле, эта музыка тебе удивительно подходила.

Ты продолжала беззвучно открывать рот, пытаясь донести до меня смысл происходящего. А потом, видимо, отчаявшись, внезапно замолчала. Некоторое время мы так и сидели, глядя друг на друга, окруженные одуряюще громкой музыкой. Мне казалось странным, что еще несколько секунд назад ты существовала в этом мире совершенно отдельно. Как-то так все совпало, соединилось в одном коротком мгновении и оказалось на своих местах – и твой блестящий хвост-сосулька, и твои босые ступни, и мокрые ресницы. И золотые хиты «Bone M», которые с тех пор звучат в моем проигрывателе практически постоянно.

Звук постепенно становился тише и наконец умолк совсем. В промежутке между «Ваhата тата» и следующей песней, стряхнув оцепенение, ты успела прошептать:

«Сделайте, пожалуйста, потише».

И бросила почти отчаянный, умоляющий взгляд на встроенный в панель проигрыватель компакт-дисков. Не повиноваться этому взгляду было невозможно. Я протянул руку и повернул регулятор громкости без малого на триста шестьдесят градусов. Теперь в машине снова был слышен только шум дождя. Ты сказала:

«Спасибо».

Потом, помолчав немного, добавила:

«Меня зовут Инга».

И опять, после небольшой паузы:

«Извините...»

Собственно, больше говорить было уже ничего не нужно. Эта информация была безнадежно исчерпывающей, твои извинения я принял, не моргнув глазом, забыв о своем маниакальном пристрастии к чистоте салона. Хотя и не совсем

понятно было, за что именно ты извиняешься – может быть, за то, что тебя зовут Ингой?

«Хорошее имя», – ответил я на всякий случай. Ты кивнула и продолжала смотреть на меня, явно ожидая, когда же тебя выгоню. Потом сказала совершенно серьезно:

«Там дождь».

Я спросил:

«Правда?»

Ты, видимо, всерьез подумала, что я мог этот дождь не заметить, и кивнула в ответ.

Я рассмеялся первым. В самом деле, смотреть на тебя без смеха было невыносимо. Ты робко улыбнулась, впервые подумав о том, что я может быть вовсе и не собираюсь набрасываться на тебя с кулаками. Более того, что могу быть совсем не против твоего присутствия в салоне своего автомобиля.

Твоя улыбка мне ужасно понравилась. Она была искренней и какой-то беззащитной, детской улыбкой, хотя глаза у тебя были абсолютно взрослыми и впечатления девочки-тинейджера ты не производила. Я подумал, что тебе наверное лет двадцать шесть – двадцать семь, хотя на самом деле было тогда тебе всего лишь двадцать четыре. Мой взгляд как будто приклеился к этой твоей улыбке, а ты вдруг, окончательно успокоившись, заговорила.

Я слушал тебя, не перебивая. Ты рассказывала о том, как вышла из дома, даже и не подумав прихватить с собой зонт. Пожаловалась на осень, обвинив ее в вероломстве. Неподалеку от офиса страховой компании располагался в полуподвальном помещении мало кому известный магазинчик с нехитрым названием «Аудио-видео». Название говорило само за себя – ты вышла из дома, чтобы купить несколько дисков с фильмами. Когда у тебя плохое настроение, тебя спасают только фильмы. Читать книгу не получается, ты не можешь сосредоточиться, а вот фильмы тебя завораживают. «Магия кино», – смешно объяснила ты и принялась рассказывать дальше. Ты рассказывала много такого, чего по идее нормальный человек никогда в жизни и не подумал бы рассказать

случайному знакомому. Хотя тогда мы, по большому счету, даже еще и не были знакомы. Едва ли мне могли быть интересны подробности твоего блуждания между стеллажами с дисками. Твой разговор с продавцом, твое разочарование по поводу отсутствия обещанной им еще на прошлой неделе какой-то старой советской комедии. Твоя безумная радость в тот момент, когда ты вдруг обнаружила на полке долгожданный фильм неизвестного мне то ли китайского, то ли японского режиссера с труднопроизносимой фамилией.

Конечно же, все это мне было не очень-то интересно. Я даже и не пытался запомнить фамилию этого продвинутого режиссера, который вместо традиционного и ожидаемого от любого нормального то ли японца, то ли китайца мейнстрима с восточными единоборствами взялся снимать пост-модернистские артхаусные полотна.

Мне просто было приятно тебя слушать. Я даже забыл про свою автогражданку и совсем перестал слышать шум дождя, который с прежней настойчивостью барабанил в стекла. Слышал только твой голос и думал о том, почему мне так приятно его слышать. Думал лениво, не спеша, нанизывал каждое твое слово на невидимую нить, из которой получались настоящие бусы.

Ты смутилась, когда я улыбнулся своим мыслям в самый неподходящий момент. Улыбаться, на самом деле, было нечему – ты как раз подошла к самой печальной части своей истории. Не успев отойти и ста метров от магазина, ты попала под этот неожиданный, непонятно откуда взявшийся дождь. А на ногах у тебя были туфли – абсолютно новые, замшевые, ужасно красивые, которые ты купила буквально вчера за сумасшедшие деньги. Ты даже зажмурилась, когда оплачивала эти туфли в кассе. В самом деле, что здесь может быть смешного?

«Я что-то не так сказала?» – спросила ты напряженно.

Я отрицательно покачал головой, забавляясь твоей реакцией.

«Тогда почему вы так улыбаетесь?»

Можно было бы, конечно, попытаться рассказать тебе про воображаемые жемчужные бусы, которые я собирал из твоих слов, но мне не хотелось выглядеть глупо.

«Я просто представил, как вы зажмурились перед кассой».

Ответ тебя вполне удовлетворил, и ты стала рассказывать дальше. Рассказ наконец подошел к логическому завершению, хотя сам по себе был всего лишь долгим предисловием к своей завершающей фразе:

«Не могли бы вы подвезти меня до дома? – спросила ты. – Я здесь недалеко живу. Совсем недалеко. Конечно же, я вам заплачу. Обязательно».

Судя по выражению твоего лица, не оставалось никаких сомнений в том, что ты действительно собираешься мне заплатить. С наивными мечтами о том, что ты, появившись в моей машине, останешься в ней теперь навсегда, пришлось с сожалением расстаться. В этот момент я снова услышал шум дождя за окном и словно увидел себя со стороны: сижу, как дурак, смотрю на тебя широко открытыми глазами и думаю о том, какую бы причину придумать, чтобы не отпускать тебя подольше. Параллельно рассуждая о том, зачем мне это, собственно, надо.

Ведь вплоть до момента твоего появления я совсем не чувствовал одиночества. Жизнь шла своим чередом, большая часть этой жизни была отдана работе. Короткие ночные промежутки – и снова утро, все как у всех. Бильярд или боулинг по субботам, баня с пивом и воблой по воскресеньям, редкие походы на футбольный стадион не в качестве активного болельщика, а просто за компанию. Задушевные беседы с начальством, периодически повторяющееся желание уволиться к чертовой матери и открыть свое дело, какой-нибудь голливудский боевичок на сон грядущий – Спилберг и Тарантино всегда предпочтительнее, чем кто-либо еще. Таково было краткое содержание моей жизни. Не слишком впечатляющая аннотация, едва ли способная заинтересовать скучающего любителя приключенческого жанра.

Но уж на мелодраму сюжет не тянул тем более. Женщины, время от времени появляющиеся в жизни, очень быстро превращались в воспоминания. Воспоминания о женщинах сливались с зеленым сукном бильярдного стола, с запахом сигарет, которые они курили, с ароматом духов, которыми они пользовались – и улетали в форточку, которую я специально открывал на ночь, чтобы не дать им задержаться надолго. Это устраивало всех – но прежде всего устраивало меня, и я никогда не задумывался о том, что все может измениться.

Я смотрел на тебя и пытался расшифровать свои чувства. Никаких далеко идущих планов в голове не возникало. Мне просто хотелось, чтобы ты задержалась в машине подольше. Еще хотя бы несколько минут посмотреть на тебя и послушать твой голос. Совершенно странное желание. Нечто похожее переживаешь, когда вырвавшись из повседневной городской суеты куда-нибудь на природу – время бежит неумолимо быстро, и глядя на часы, ты с тоской думаешь о том, что совсем скоро уже не будет этой теплой и пахучей зеленой травы под ногами, отчаянно голубого неба, спокойно и торжественно лежащего над головой прямо на ветках деревьев. Воздух станет другим, звуки станут другими, а вместо травы снова под ногами будет пыльный и серый асфальт.

Тронуться с места сейчас – означало, что стадия пыльного и серого асфальта в моей жизни наступит примерно минут через пять. Чтобы пять превратились хотя бы в десять, я посмотрел на часы и ляпнул первое, что пришло на ум:

«Знаете, у меня здесь назначена встреча. Буквально с минуты на минуту должен подъехать один мой приятель. Мне не хотелось бы с ним разминуться. Если вы не очень торопитесь – может быть, мы дождемся его, а потом я вас подвезу до дома?»

Ты сразу согласилась. Торопиться тебе было некуда, и я даже сумел убедить себя в том, что ты немного обрадовалась такому варианту развития событий. Что тебе не хочется расставаться со мной сейчас почти так же сильно, как мне не хочется расставаться с тобой.

Ты взглядом указала на притихший проигрыватель компакт-дисков и спросила:

«Любите старые хиты?»

Следующие десять минут мы разговаривали о музыке. Здесь, как и в области кино, наши вкусы оказались полярно противоположными. Пытаясь передать звучание ирландского бубна, ты подбирала какие-то смешные, совсем не подходящие к музыке эпитеты, и в результате тебе наконец удалось добиться того, что я почти услышал этот бубен, и он мне ужасно понравился.

Дождь кончился внезапно, и мы оба не заметили этого. Неприятный скрип дворников по сухому стеклу вызвал у меня легкое недоумение, и я отключил их чисто механически, продолжая рассеянно слушать твой рассказ о концерте

Жанны Бичевской, на котором тебе удалось побывать совсем недавно.

«Ваш знакомый, кажется, задерживается», – сказала ты и посмотрела на меня вопросительно.

«Пунктуальность никогда не была отличительной чертой его характера», – ответил я, мысленно поблагодарив своего несуществующего приятеля за его разгильдяйство. Мы прождали его еще минут пятнадцать, за это время я так привык к твоему присутствию, что думать о расставании стало почти больно.

В этот момент зазвонил телефон. Требовалось мое срочное присутствие на работе – начальник орал в трубку очень громко, и ты невольно услышала весь разговор, от первого до последнего слова.

Отключив телефон, я раздраженно сунул его в карман и едва сдержался, чтобы не выругаться.

Ты почему-то снова принялась извиняться. Как будто была виновата в том, что мой начальник – такой идиот. Развернув машину, я доехал до ближайшего перекрестка, где ты попросила повернуть направо и спуститься вниз по асфальтированной дороге вдоль многоподъездного панельного дома, на углу которого была прикреплена табличка «улица Береговая». Твой подъезд был самым последним.

«Ну вот, мы и приехали. Остановите здесь, пожалуйста», – попросила ты и улыбнулась мне благодарной улыбкой. Твое лицо было уже совершенно сухим, а волосы, собранные в хвост, продолжали все так же глянцево блестеть, только вода с них уже не капала.

Расстегнув молнию на сумочке, ты вытащила кошелек и с серьезным видом протянула мне пятьдесят рублей. После дурацких препираний сказала:

«Тогда огромное вам спасибо».

Засунула кошелек обратно, улыбнулась и попрощалась.

Странно, но в тот момент, когда ты приоткрыла дверцу, мне даже и в голову не пришло попросить у тебя номер телефона. Поинтересоваться, что ты делаешь вечером. Сказать или сделать что-нибудь такое, чтобы ты не смогла отказаться от предложенного ужина в ресторане.

Я просто уже тогда знал, что мы встретимся снова. Не важно, когда и где это произойдет – может быть, совсем скоро, а может быть, этой встречи придется ждать долгие месяцы или годы. Но она все равно случится. Это совершенно очевидно, и торопить события было просто глупо и совсем ни к чему.

На прощание ты снова улыбнулась и махнула мне рукой. Среди множества тонких серебряных колец на твоём безымянном пальце я вдруг заметил одно золотое – обручальное.

* * *

– И мы встретились? На самом деле встретились снова?

Инга вздрогнула и открыла глаза. Испуганно оглядевшись по сторонам, в густом вечернем полумраке с трудом узнала стены больничной палаты. Оконный проем был совершенно черным, и в правом верхнем углу его равнодушно висела луна. Луна выглядела почти зловещей, и глядя на нее сейчас, не трудно было понять, почему это зрелище вызывает у собак и волков приступы тоскливого воя.

В палате, кроме нее, никого не было. Сердце билось с такой скоростью, будто она только сейчас финишировала, оставив позади марафонскую дистанцию. На лбу выступил холодный пот. Откинувшись на подушку, Инга прикрыла глаза и попыталась успокоиться. Она не собака и не волк, чтобы выть на луну – как бы ей не хотелось сейчас поскулить под окном хотя бы немножко, во избежание неприятностей все же было лучше воздержаться. Кажется, она проснулась от звука собственного голоса. Интересно, она всегда разговаривала во сне? Или эта патология – следствие перенесенного нервного потрясения? И что за странный сон ей приснился?

Или все-таки это был не сон? Лицо незнакомца – серые глаза, по-девичьи скругленный подбородок, четко очерченные скулы – отчетливо отпечатались в памяти. Точно так же отчетливо, как шум дождя за окном машины, песни «Boney

М», как обручальное кольцо – единственное золотое среди множества серебряных...

Она поднесла руку к глазам. Никакого золотого обручального кольца не было. И это было странно, потому что она видела его только сейчас, несколько секунд назад, на своей руке. Так значит, все-таки приснилось? Серебряные кольца были на месте, а золотое исчезло. Было ли оно на руке вчера или позавчера? Может быть, она его просто не замечала?

Дотронувшись кончиками пальцев до волос, она убедилась в том, что волосы сухие. Абсолютно сухие.

– Господи, помоги мне, – растерянно прошептала Инга.

Луна продолжала равнодушно смотреть в окно, провоцируя неадекватные реакции. Ни штор, ни жалюзи на окне не было – лишь тонкий, выцветший от времени тюль, спускающийся чуть ниже подоконника. Надеяться на него было глупо, и все же Инга, поднявшись с постели, подошла к окну и расправила тюль на всю длину рамы. Луна, спрятавшаяся за мелкую сеточку нитяных плетений, стала чуть более мутной, но от этого ничуть не менее тоскливой. Чтобы не видеть ее, Инга придумала переложить подушку в другую сторону кровати. Почти сразу же успокоившись, она некоторое время размышляла о странных свойствах лунного света, о своей подверженности влиянию этого света. Мысли постепенно прояснились, и она наконец сумела отыскать ту самую грань между сном и реальностью, которая, казалось, была потеряна безвозвратно.

Тот парень, который был в палате, конечно же, ей не приснился. Он начал рассказывать ей о том, как они познакомились. Он сидел на полу, у изголовья ее кровати, смотрел снизу вверх и говорил очень тихо. Инга, облокотившись на смятую подушку, молча слушала его рассказ, надеясь на то, что память ее отзовется. Напрасно надеялась – никаких проблесков появления утраченной способности не обнаружилось. В какой-то момент она вдруг поняла, что ей ужасно мешает то, что этот парень, назвавшийся Гориным, смотрит на нее снизу вверх. Она расправила смятую подушку и легла на нее, отвернувшись к стене.

Он продолжал свой рассказ, не задавая никаких вопросов. Ей сразу стало легче – и от того, что теперь можно было не смотреть в его глаза, и от того, что он понял ее и не стал интересоваться, почему это вдруг она от него отвернулась.

Почти успокоившись, Инга снова напряглась, когда вдруг почувствовала, как его пальцы прикоснулись к ее волосам. Всего на секунду, или может быть, долю секунды – прикосновение было таким коротким, что невозможно было с уверенностью сказать, было ли оно на самом деле. Инга замерла, затаила дыхание, собравшись разозлиться – но не успела, только вздохнула коротко и продолжила слушать его рассказ, изо всех сил напрягая уснувшую память. Каждую секунду уповая на то, что она откликнется.

Ей почему-то очень хотелось, чтобы эта красивая история на самом деле оказалась частью ее жизни. Хотя, если разобраться, сейчас она была бы рада ощутить саму себя частью любой другой истории, пусть не такой красивой, пусть самой что ни на есть прозаической, не важно. Главное – почувствовать себя собой...

Этого не случилось, несмотря на все приложенные усилия. Она заснула, видимо, под действием принятого незадолго до появления посетителя лекарства. А проснувшись, обнаружила в палате лишь лунный свет, от которого ей стало жутко. Ее посетитель исчез, как будто растворившись в этом свете.

«Ерунда», – откинув со лба влажные у корней пряди волос, она попыталась отвлечься. Закрыла глаза, чтобы не видеть бледно-жемчужную пустоту. Нет ничего особенного в том, что этот парень ушел, не став тревожить ее. В конце концов, она больна, а к больным следует относиться бережно. Он ведь не виноват в том что, проснувшись, она потеряла способность ориентироваться в реальности и отличать сон от яви. Теперь все встало на свои места, и только лунный свет, льющийся из окна, немного беспокоил ее. Странное ощущение не давало покоя – как будто за спиной у нее кто-то стоит и пристально смотрит. Инга даже оборачивалась несколько раз – но кроме луны, которая заметно сместилась уже к центру оконной рамы, там больше ничего не было.

Так нельзя, снова сказала она себе. Нужно взять себя в руки и смириться с тем, что прошлое будет возвращаться постепенно. Медленно. Очень постепенно и очень медленно. Ни к чему так сильно напрягаться. Слушая рассказ Горина, она почти наверняка знала, что ничего не сможет вспомнить. И в то же время панически боялась этого. Страх и надежда перемешались в странный коктейль, покрытый сверху взбитыми сливками лунного света. Результат налицо – она лежит в кровати, натянув одеяло почти до бровей, и дрожит мелкой дрожью, ощущая затылком чье-то чужое дыхание. Это называется – паранойя. Бесплатное приложение к амнезии – если вовремя от него не отказаться, потом

уже никуда от него не денешься.

Хватит, снова приказала она себе. Ты – сильная. Всегда была сильной. Наверное... А если не была – значит, теперь тебе придется стать сильной. Иначе – пропадешь...

Инга долго пыталась заснуть, ворочалась с боку на бок, добросовестно считала баранов. Бараны были белыми и пушистыми, похожими на детские варезки, связанные из кроличьего пуха. На своих коротких ножках они передвигались медленно, вразвалочку, и наблюдать за ними было забавно. Поняв наконец, что просто так заснуть ей не удастся, она прислушалась к звукам за стенами палаты. За три дня своего пребывания здесь она уже научилась определять время суток именно по этим звукам. Гулкая и настороженная тишина, наполненная до краев треском электрораспределителя, была приметой позднего вечера. Вечерние процедуры, по всей видимости, закончились уже давно – не слышно было ни голосов медсестер, ни тихого скрипа двери в ординаторскую.

Поднявшись с постели, она нашарила под кроватью тапочки – подарок сердобольной тети Таси, местной санитарки. Эти тапочки тетя Тася принесла для Инги из дома, вместе с халатом, во второй день ее пребывания в больнице. В тот день, когда выяснилось, что Инга не помнит номера телефона, по которому можно было бы позвонить кому-нибудь из близких, чтобы те принесли ей халат и тапочки.

Когда выяснилось, что Инга не помнит вообще ничего.

Бесшумно приоткрыв дверь палаты, она прищурилась от яркого света, который в коридоре не выключался даже на ночь. В медсестринской было шумно – вся ночная смена отделения травматологии собралась на вечернее чаепитие. Инга робко постучала, приоткрыла дверь и попросила снотворное. Димедрол здесь выдавали всем желающим – особенной популярностью это средство пользовалось в общих палатах, где заснуть без снотворного часто оказывалось проблематично из-за громкого храпа соседа или из-за нескончаемых ночных разговоров. Правда, брать снотворное в палату не разрешали – таблетки выпивались прямо здесь, в присутствии медперсонала. Инга проглотила две сразу, поблагодарила, пожелала спокойной ночи и вышла, чувствуя спиной сочувственные взгляды.

Часы с круглым циферблатом и черными ажурными стрелками, подвешенные на стене в коридоре, показывали половину двенадцатого ночи. Инга вернулась в палату, сбросила тапочки и нырнула в кровать – быстро, не давая себе возможности снова попасть под гипноз лунного света.

Сон наступил не сразу и тяжело. Он затягивал в себя, как вязкое болото, давил на грудь, делая болезненным каждый вдох и почти невозможным – выдох. Стоило только закрыть глаза – голова начинала кружиться, к горлу подкатывала тошнота. Едва успевая заснуть, она сразу же просыпалась снова, успевая в первые же секунды сна увидеть какой-то кошмар. Открывая глаза, она снова видела больничную палату, залитую лунным светом, и опять погружалась во временное забытие. Со временем эти погружения становились все чаще и глубже – изученное, измотанное этой странной борьбой сознание наконец покорилося. И все же сон был не глубоким, очень поверхностным, каким-то прозрачным. Сквозь пелену этого сна Инга видела себя сверху – сжавшееся в испуганный комок тело, растрепанные волосы на больничной подушке, одетой в застиранную наволочку. Бледно-восковое лицо, в лунном свете напоминающее лицо неживого человека.

Едва различимый в неподвижной тишине осенней ночи звук послышался откуда-то со стороны окна. Невозможно было понять, услышала ли она его сквозь сон, или он ей просто приснился. Звук повторился – теперь она поняла, что это был слабый скрежет оконной рамы. Воздух наполнился осенней сыростью. Почувствовав влажное прикосновение к своей щеке, Инга расслабилась на мгновение и попыталась, преодолев навалившийся сон, подняться с кровати. Во сне она увидела распахнутые настежь створки окна. Тюль нервно дрожала на ветру, как флаг неизвестной страны, побежденной и умоляющей о пощаде. Беззвездная чернота казалась зловещим фоном чего-то неотвратимого и страшного. Задремавшие на потолке тени тревожно встрепенулись и замелькали черно-белым калейдоскопом, как стая перепуганных ворон. Одна из них медленно отделилась и стала опускаться вниз, приближаясь с каждой секундой, легко преодолевая сопротивление воздуха. Черная тень-покрывало, легко покачиваясь на ветру, превратилась внезапно в большое мазутное пятно, и Инга поняла, что в тот момент, когда это пятно ее накроет, она потеряет способность дышать и видеть свет. Из последних сил сопротивляясь сну, она попробовала закричать, но губы оставались сомкнутыми, и вместо крика получилось лишь невнятное мычание, похожее на стон. Это стон разбудил ее – веки, дрогнув, приоткрылись. Но черная тень не исчезла.

Тень продолжала приближаться – медленно и неотвратно. Вглядевшись в ее очертания, Инга с ужасом поняла, что у этой страшной тени есть руки и лицо, голова и плечи. Что рядом с ней, возле ее кровати, стоит человек.

Ей снова захотелось кричать – но крик застрял в горле, сдавленном страхом. Слизистая оболочка рта неприятно пересохла, и теперь при каждом судорожном вдохе возникало ощущение трения наждачной бумагой по поверхность гортани. Неразличимое в темноте палаты лицо приближалось, склонялось все ниже и ниже. Сердце, сжавшееся в крошечный комок, билось в груди так, как может биться только в последние секунды жизни. Капли ледяного пота выступили на лбу, кончики пальцев потеряли чувствительность. Кошмар протяженностью в несколько секунд разрастался до размеров бесконечности. Застывшими от ужаса глазами она смотрела на приближающееся в темноте лицо и вдруг поняла, что знает этого человека.

В этот момент она наконец сумела закричать. Она набрала в легкие побольше воздуха и выдохнула его, собрав последние силы. Но крик получился коротким и сдавленным – большая ладонь грубо легла ей на рот и затолкала его обратно. Другая рука, такая же сильная и властная, сдавила подбородок. Кожей она ощущала жестковатые бугорки на ладонях и прохладу пальцев.

Длинных пальцев пианиста, которые еще совсем недавно так нежно прикасались к ее волосам.

* * *

Сквозь мутное стекло, безнадежно запотевшее от моего дыхания, смотрю на тебя и пытаюсь читать по губам. Ты шепчешь что-то абсолютно не важное, прилипнув носом к стеклу, которое нас разделяет. Кончик носа приплюснут, похож сейчас на пяточок поросенка. Безуспешно пытаюсь поведать тебе об этом сходстве, но ты не слышишь меня и почти не видишь, как шевелятся мои губы. Отчаявшись, я вдруг нахожу выход из ситуации – активно дышу на стекло, широко открываю рот и дышу снова и снова, до тех пор, пока запотевший квадрат не превращается в запотевший прямоугольник, достаточно длинный для того, чтобы вместить мое послание. «П» – старательно вывожу пальцем на влажной поверхности стекла. Окидываю придирчивым взглядом и рисую неподалеку круглую «о». Вижу, как с той стороны стекла ты радостно киваешь. Идея с перепиской показалась бы тебя непроходимо скучной, если бы нас

разделяли десятки, сотни или тысячи километров. Но переписываться, когда между нами всего лишь две створки оконной рамы – эта затея не может оставить тебя равнодушной. Дописываю последнюю «к». Девять букв – «поросенок» оказался ужасно длинным, он едва уместился на влажном прямоугольнике, к тому же первые «п» и «о» уже обросли потеками и стали похожи на каких-то непонятных монстров из детской энциклопедии мифических существ. Ты снова киваешь, давая понять, что успела прочитать написанное слово в зеркальном отображении, и начинаешь энергично дышать на стекло со своей стороны. Твое лицо растворяется в капельках влаги, теперь вместо него я вижу лишь расплывчатое пятно и ярко-розовую подушечку указательного пальца, который быстро и ловко выводит на стекле непонятный зигзаг, напоминающий рыболовный крючок. Чувствую себя этой самой рыбой, для которой заготовлена наживка, и киваю на всякий случай, надеясь разобраться потом.

В слове всего три буквы, и когда смысл наконец доходит до меня, я начинаю смеяться.

«Где?» – спрашивает у меня твой розовый указательный палец. Первая буква «г» и последний вопросительный знак выглядят как братья-близнецы, один из которых родился на несколько секунд раньше.

«Ты» – торопливо пишу в ответ, надышав на стекле новый островок пара. Наверное, мой указательный палец с твоей стороны выглядит точно таким же розовым и любопытным, как твой – с моей стороны.

«Сам ты», – старательно выводит он на стекле и демонстративно рисует рожицу. Спускаюсь ниже и начинаю снова энергично дышать, думая о том, что совсем скоро на стекле уже не останется свободных участков и нам придется перейти к другой оконной раме.

В этот момент ты исчезаешь.

Сквозь бесконечные потеки на стеклах я не могу проследить твой путь, но знаю почти наверняка, что ты не воспарила в воздух, а отошла от окна обычным способом, который используют все люди для того, чтобы перемещаться в пространстве.

Хотя все эти способы, по которым живут и перемещаются в пространстве обычные люди, для тебя абсолютно ничего не значат. И я давно уже подозреваю, что с законом всемирного тяготения у тебя какие-то свои, особенные и очень приятельские отношения. Ты можешь запросто похлопать его по плечу и послать ко всем чертям. Он на тебя не обидится, а ты будешь наслаждаться состоянием невесомости до тех пор, пока оно тебе не наскучит.

Ты исчезаешь, а я некоторое время безрадостно разглядываю мокрое стекло, на котором спустя минуту уже невозможно различить ни слова. Только грустные монстры, захлебнувшиеся в потоке собственных слез.

Слова, написанные на облаке пара, слишком недолговечны и в качестве вещественного доказательства собственного бытия абсолютно бесполезны. На них нельзя положиться, потому что их существование в настоящем времени еще короче, чем процесс их рождения.

Некоторое время я еще липну к стеклу. Прижимаюсь расплюснутым, холодным и влажным, как собаки-пикинеса, носом. Играю не по правилам – ты строго-настрого запретила мне смотреть на «все это безобразие», каковым является дурацкий школьный спектакль по дурацкой сказке дурацкого датского сказочника.

Дурацкая сказка называется «Снежная королева». Ты согласилась на роль злодейки не из любви к искусству, а из гораздо более прозаических побуждений – для репетиций участников спектакля снимают с уроков алгебры, а уроки алгебры ты ненавидишь сильнее всего на свете. Причина этой ненависти – загадка даже для меня, возомнившего себя Человеком, Который Тебя Знает.

Еще одна загадка из множества, неотвратно стремящегося к бесконечности.

Уснувшая совесть испуганно вздрагивает и просыпается от тяжелого взмаха крыльев какой-то диковиной птицы. В темноте я не успеваю ее разглядеть, вижу только, что сама птица огромная и крылья у нее большие. Такие птицы не водятся в наших краях. Сомнений в том, что ты специально подослала эту птицу, чтобы она разбудила мою совесть, почти не остается. Выполнив свою миссию, птица исчезает абсолютно беззвучно. Растворяется в воздухе, как и полагается несуществующей, придуманной птице.

Ничего сверхъестественного.

Повесив голову, покорно бреду через школьный двор к выходу. Оборачиваюсь в последний раз – актовый зал освещен огнями, но с такого расстояния разглядеть сцену уже нельзя. Мне предстоит час ожидания, по истечении которого мы должны встретиться у ворот городского парка.

Парк в ста метрах от школы. При всем желании потратить на дорогу шестьдесят минут невозможно. Отойти от ворот тоже невозможно, потому что существует опасность разминуться. Стою у ворот целый час, тупо разглядывая трещины на асфальте, и повторяю про себя заданную на дом тему по географии.

Если ты узнаешь, чем я здесь занимаюсь – поднимешь меня на смех.

Но к счастью, ты умеешь читать мысли только с близкого расстояния. В ста метрах от тебя я могу предаваться своей постыдной деятельности относительно спокойно, не опасаясь разоблачения. Что я и делаю, хотя сконцентрироваться на географии удастся с большим трудом.

В тот момент, когда ты с опозданием на двадцать четыре минуты наконец возникаешь в поле зрения, я в который раз понимаю, насколько безнадежно в тебя влюблен. Во рту появляется ощущение привкуса медной монеты, как будто кто-то незаметно сунул ее мне за щеку, а в горле образуется круглый ком, который невозможно проглотить, как не старайся.

Я смотрю на тебя и думаю о том, что влюблен в тебя безнадежно. Точно так же безнадежно, как влюблены в тебя все фонари на школьном дворе. Все деревья в парке, все птицы на этих деревьях, все букашки, копошащиеся в траве, и сама трава тоже.

Ты – в белом платье из пышной и блестящей парчи. Широкая юбка с голубыми оборками закрывает щиколотки. Прозрачные рукава отливают серебром в свете вечерней луны. На голове у тебя корона, сверкающая сотнями бриллиантов. На ногах – белые лакированные туфли на высоченных и тонких каблуках.

Снежная королева.

Ты идешь быстро, почти бежишь, и смотришься немного неуклюже на каблуках, которых раньше никогда не носила.

«Дурацкая сказка», – говоришь ты, с трудом переводя дыхание и гневно сверкая глазами. Ресницы густо подведены тушью, на веках – сверкающая синева. Боже мой, думаю я. Ты раздраженно дергаешь вниз корону, которая оказывается закрепленной на голове при помощи обыкновенной бельевой резинки, и бросаешь ее на асфальт. Сотни сверкающих бриллиантов в тот же миг превращаются в осколки цветного стекла. Они уже не сверкают. Я цепенею от нежности, глядя на твою лохматую стриженую голову, и соглашаюсь:

«Дурацкая сказка».

Медная монета за щекой никуда не исчезает, а круглый ком в горле придает моему голосу неестественную хриплость.

«Простудился, что ли?» – интересуешься ты без всякого интереса. Я знаю, что на этот вопрос можно и не отвечать.

«Эти придурки куда-то задевали ключ от раздевалки. Так и пришлось уйти в этом прикиде. Ужасно. А ты что стоишь, как замороженный? Знаешь что, давай поиграем в прятки!»

Ответ написан у меня на лице. Это детская игра. Нам же не пять лет, в конце концов. И даже уже не десять.

«О-о, какие мы взрослые! Какие мы большие и серьезные!» – ты корчишь подобающую рожицу и сообщаем мне, что я должен простоять на этом месте, досчитав до ста, а потом начать поиски.

В сумерках, насквозь пропитанных мятной сыростью вчерашнего дождя, иду по твоим следам, накрывая каждый твой след своим следом. Дурацкая игра в прятки действует мне на нервы, но играть в нее все равно приходится, потому что любая из моих попыток образумить тебя обречена на провал. Отпечаток тонкого каблука и скругленного носа исчезает, примятый рифленой подошвой моих грубых ботинок, за ним исчезает следующий. Поиски наконец завершаются – замечаю светлое пятно возле старого дуба с выжженным стволом. Когда-то давно в него ударила молния. С тех пор он перестал расти, но

почему-то до сих пор так и не умер. По каким-то понятным только тебе одной соображениям ты считаешь этот дуб священным и всегда разговариваешь только шепотом в его присутствии.

Можно было и не сомневаться в том, что ты прячешься именно здесь.

Стоишь, прислонившись спиной к стволу, откинув голову, с закрытыми глазами. Вздрагиваешь, когда я хлопаю тебя по плечу и издаю ликующий вопль идиота. Строишь на меня и молчишь.

«Я нашел тебя!» – сообщаю, глядя в твои затуманенные сыростью глаза.

«Да?» – переспрашиваешь ты равнодушно. Игра в прятки тебя уже не интересует. Перестала интересоваться еще в тот момент, когда я старательно накрывал первый найденный след от твоей хрустальной туфельки своим следом. Оказывается, можно было и не стараться.

Некоторое время молчу, уставившись себе под ноги. Пытаюсь справиться с обидой, но обида оказывается сильнее, и я глупо спрашиваю:

«Почему ты такая?»

Ожидая услышать исчерпывающий ответ, который поможет мне наконец постигнуть твою загадочную сущность.

«Потому что такая», – отвечаешь ты, и мне все становится ясно.

«И говори, пожалуйста, потише. Здесь нельзя разговаривать громко. Ты забыл?»

Отчаянно хочется взбунтоваться. Высказать дерзкое предположение о том, что твой дурацкий дуб – всего лишь дурацкий дуб, и ничего больше. Что если в него десять лет назад ударила молния, это еще не повод для священного трепета. Что дуб, в который ударила десять лет назад молния, ничем не отличается от десятков точно таких же дубов в этом парке. Что дерево – оно и есть дерево. И добавить что-нибудь о том, что все девчонки – круглые дуры.

«Не забыл», – бормочу себе под нос, засчитывая на твой счет очередную победу. Число твоих побед давно перевалило за трехзначное, на моем счете вечный и круглый ноль.

Хотя, если разобраться, разговаривать шепотом совсем не трудно. Пожалуй, это не причина для того, чтобы устраивать бунт на корабле.

Несколько минут ты ковыряешь носком белоснежной туфельки сырую землю, выписывая на ней корявые поперечные восьмерки – множество неправильных бесконечностей, пересекающихся друг с другом. Едва ли в этот момент тебе приходит в голову, что бесконечность может быть лишь одна. Ты думаешь совсем о другом. Наконец, словно очнувшись, поднимаешь глаза.

«Иди сюда», – шепчешь одними губами.

Я и так здесь. Несколько секунд уходит на вялые размышления о том, чего же ты от меня хочешь. Наконец я догадываюсь. Подхожу вплотную к покореженному стволу, поворачиваюсь лицом и обхватываю его руками, в точности повторяя твои движения. Ты задираешь голову, почти упираясь в выжженную кору подбородком. Я задираю голову и тоже почти упираюсь подбородком в кору. В темноте ты нащупываешь мои пальцы, накрываешь их своими, и мы начинаем глупейшие ритуальные пляски вокруг священного дерева.

Над головой кружатся корявые ветки. В просветах между черными листьями видны рваные лоскуты такого же черного неба, и звезды на нем – как дырки в сыре. Ты все тянешь меня за руку, начинаешь кружиться быстрее, еще быстрее. Звезды, застрявшие между ветками, сыплются вниз, отскакивают, ударяясь о землю, и снова взлетают. Развлечение из разряда экстремальных, если учесть, что каждая из них может запросто свалиться прямо на голову. Хочется закрыть лицо руками, чтобы его не поранили осколки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купити: https://tellnovel.me/egorova_ol-ga/mezhdu-dvuh-ogney

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)